«ВЕЧЕ»
КЛАССИКА

АЛЕКСАНДР КУПРИН



Звезда Соломона

Александр Иванович Куприн

ЗВЕЗДА СОЛОМОНА
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

ЗВЕЗДА СОЛОМОНА

I

Странные и маловероятные события, о которых сейчас будет рассказано, произошли в начале нынешнего столетия в жизни одного молодого человека, ничем не замечательного, кроме разве своей скромности, доброты и полнейшей неизвестности миру. Звали его Иван Степанович Цвет. Служил он маленьким чиновником в Сиротском суде, даже, говоря точнее, и не чиновником, а только канцелярским служителем, потому что еще не выслужил первого громкого чина коллежского регистратора и получал 37 руб. 24 $^1/_2$ коп. в месяц. Конечно, трудно было бы сводить концы с концами при таком ничтожном жалованье, но милостивая судьба благоволила к Цвету, должно быть, за его душевную простоту. У него был малюсенький, но чистенький, свежий и приятный голосок, так себе, карманный голосишко, тенорок-брелок, — сокровище не Бог весть какой важности, но все-таки благодаря ему Цвет пел в церковном хоре своего богатого прихода, заменяя иногда солистов, а это вместе с разными певческими халтурами, вроде свадеб, молебнов, похорон, панихид и прочего, увеличивало бо-

лее чем вдвое его скудный казенный заработок. Кроме того, он с удивительным мастерством и вкусом вырезал и клеил из бумаги, фольги, позументов и обрезков атласа и шелка очень изящные бонбоньерки для кондитерских, блестящие котильонные ордена и елочные украшения. Это побочное ремесло тоже давало небольшую прибыль, которую Иван Степанович аккуратно высылал в город Кинешму своей матушке, вдове брандмейстера, тихо доживавшей старушечий век на нищенской пенсии в крошечном собственном домишке, вместе с двумя дочерьми, перезрелыми и весьма некрасивыми девицами.

Жил Цвет мирно и уютно, вот уже шестой год подряд все в одной и той же комнате в мансарде над пятым этажом. Потолком ему служил наклонный и трехгранный скат крыши, отчего вся комнатка имела форму гроба; зимой бывало в ней холодно, а летом чрезвычайно жарко. Зато за окном был довольно широкий внешний выступ, на котором Цвет по весне выгонял в лучинных коробках настурцию, резеду, лакфиоль, петунью и душистый горошек. Зимою же на внутреннем подоконнике шарашились колючие бородавчатые кактусы и степенно благоухала герань. Между тюлевыми занавесками, подхваченными

синими бантами, висела клетка с породистым голосистым кенарем, который погожими днями, купаясь в солнечном свете и в фарфоровом корытце, распевал пронзительно и самозабвенно. У кровати стояли дешевенькие ширмочки с китайским рисунком, а в красном углу, обрамленное шитым старинным костромским полотенцем, утверждено было Божие милосердие, образ Богородицы-троеручицы, и перед ним под праздники сонно и сладостно теплилась розовая граненая лампадка.

И все любили Ивана Степановича. Квартирная хозяйка — за порядочное, в пример иным прочим, буйным и скоропреходящим жильцам, поведение, товарищи — за открытый приветливый характер, за всегдашнюю готовность услужить работой и денежной ссудой или заменить на дежурстве товарища, увлекаемом любовным свиданием; начальство — за трезвость, прекрасный почерк и точность по службе. Своим канареечным прозябанием сам Цвет был весьма доволен и никогда не испытывал судьбу чрезмерными вожделениями. Хотелось ему, правда, и круто хотелось — получить заветный первый чин и надеть в одно счастливое утро великолепную фуражку с темно-зеленым бархатным околы-

шем, с зерцалом и с широкой тульей, франтовато притиснутой с обоих боков. И экзамен был им на этот предмет сдан, только далеко не блестяще, особенно по географии и истории, и потому мечты носились пока в густом розовом тумане. Давно заказанная фуражка покоилась в картонке, в нижнем ящике комода. Иногда, придя из присутствия, Цвет извлекал ее на свет Божий, приглаживал бархат рукавом и сдувал с сукна невидимые пылинки. Он не курил, не пил, не был ни картежником, ни волокитой. Позволял себе только разумные и дешевые удовольствия: по субботам, после всенощной, — жаркую баню с долгим любовным пареньем на полке, а в воскресенье утром — кофе с топлеными сливками и с шафранным кренделем. Изредка совершал он прогулки на вербы, на троицкое катанье, на балаганы, на ледоход и на Иордань и раз в год ходил в театр на какую-нибудь сильную, патриотическую пьесу, где было побольше действий, а также слез, криков и порохового дыма.

Была у него одна невинная страстишка, а пожалуй, даже призвание — разгадывать в журналах и газетах всевозможные ребусы, шарады, арифмографы, криптограммы и прочую путаную белиберду. В этой пустяковой области Цвет

отличался несомненным, выдающимся, исключительным талантом, и много было случаев, что он для своих товарищей и знакомых, выписывающих недорогие еженедельные изданьица, разгадывал шутя сложные премированные задачи. Высоким мастером был он также в чтении всевозможных секретных шифров, и об этом странном даровании Ивана Степановича наша правдивая, хотя и неправдоподобная повесть рассказывает не случайно, а с нарочитым подчеркиванием, которое станет ясным в дальнейшем изложении.

Изредка, в праздничные дни, под вечерок, заходил Цвет — и то по особо настойчивым приглашениям — в один трактирный низок под названием “Белые лебеди”. Там иногда собирались почтамтские, консисторские, благочинские и сиротские чиновники, а также семинаристы и кое-кто из соборных певчих — голосистая, хорошо сладившаяся, опытная в хоровом пении компания. Толстый и суровый хозяин, господин Нагурный, страстный обожатель умилительных церковных песнопений, охотно отводил на эти случаи просторный “банкетный” кабинет. Пелись старинные русские песни, кое-что из малорусского репертуара, особенно из “Запорож-

ца за Дунаем", но чаще — церковное, строгого стиля, вроде "Чертог твой вижду", "Егда славнии ученицы" или из бахметьевского обихода греческие распевы. Регентовал обычно великий знаток Сребструнов от Знамения, а октаву держал сам знаменитый и препрославленный Сугробов, бродячий октавист, горький пьяница и сверхъестественной глубины бас. Хозяину Нагурному петь раз навсегда было строго запрещено, вследствие полного отсутствия голоса и слуха. Он только дирижировал головой, делал то скорбное, то строгое, то восторженное лицо, закатывал глаза, хлюпал носом и — старый, потертый крокодил — плакал настоящими, в орех величиною, слезами. И часто, разнежившись, ставил выпивку и закуску.

На этих любительских концертах Иван Степанович, случалось, не мог отказаться от стакана-другого пива, от рюмочки сантуринского или кагора. Но приятнее ему было все-таки скромно угостить хорошего знакомого, чаще всего — волосатого и звероподобного октависта Сугробова, к которому он питал те же почтительные, боязливые, наивные и влюбленные чувства, какие испытывает порою пылкий десятилетний мальчуган перед пожарным трубником в сияющей

медной каске.

II

Двадцать шестое апреля пришлось как раз в воскресенье, в храмовый праздник прихода, где пел Иван Степанович. Кроме обычной обедни, была еще отслужена заупокойная литургия, заказанная вдовой именитого купца Солодова по случаю мужниных сороковин. Певчие, старавшиеся вовсю, были награждены расплакавшеюся купчихой с неслыханной щедростью (поговаривали, что покойный сильно поколачивал в хмелю свою супругу и что еще при жизни мужа она утешалась с красавцем старшим приказчиком). После литургии пропели панихиду на дому, а к поминальному обильному столу, вместе с духовенством и нарочито приглашенным соборным протодиаконом, был позван и церковный хор.

День закончился в “Белых лебедях” настоящим разливанным морем, и как-то само собой случилось, что Цвет, всегда умеренный и не любивший вина, выпил гораздо более того, что ему было допущено привычкой и натурой. Но от этого он вовсе не потерял своих милых и теплых внутренних свойств, а, наоборот, забыв о всегдашней застенчивости и слегка распахнувшись душой,

стал еще добрее и привлекательнее. С нежной предупредительностью подливал он пиво в стаканы то октависту Сугробову, то огромному протодиакону Картагенову, которого без особых усилий компания затащила в ресторанный подвальчик. Восторженно слушал он, как эти две городские знаменитости, оба красные, потные, мохнатые, с напружившимися жилами на шеях, переговаривались через стол рокочущими густыми голосами, заставлявшими тяжело и гулко колебаться весь воздух в низкой и просторной комнате. Обнимал он также и многократно целовал жеманного, курчавого и толстого Сребростурунова, уверял, что место ему по его великим талантам быть не регентом в маленьком губернском городе, а, по крайней мере, управлять придворной капеллой или московским синодальным хором, и клятвенно обещался подарить к именинам Сребростурунова золотой камертон с надписью и к нему — замечательный футляр из красного сафьяна, собственноручной работы.

В этот вечер пели мало и не по-всегдашнему стройно: сказались усталость и купеческое широкое хлебосольство. Но говорили много, громко, возбужденно и все разом. Высокие носовые и горловые ноты теноровых голосов плыли и дро-

жали на фоне струнного басового гудения, точно сверкающая рябь солнечного заката на глубокой полосе спокойной, широкой реки. И Цвету мгновеньями казалось, что он сам среди пестрого говора, в синих облаках табачного дыма, пронизанного мутными пятнами огней, тихо плывет куда-то в темную даль, испытывая сладкое, сонное раздражающее головокружение, какую-то приятную, лазурную, с алыми пятнами одурь. Порою отдельные куски разговора вставали перед ним с необыкновенной, преувеличенной яркой ясностью.

— Я и не скрываю. Чего мне скрывать? — говорил смуглый, угреватый и мрачный баритон Карпенко. — Есть у меня один выигрышный билет. Первого мая ему розыгрыш. Хоть он и заложенный, а все-таки я его сколотил на мои кровные труды, и никому до этого нет никакого дела. Вот назло выиграю первого мая двести тысяч и брошу к чертовой матери и хор и службу. И заживу паном. Положу деньги под закладную дома из десяти процентов. Проценты буду проживать, а капитал не трону. Двадцать тысяч в год. Буду обедать у Смульского, а за обедом портвейн пить по два с полтиной бутылка. Попробуйте-ка у меня тогда занять денег. А н-ни копейки, ни

грошика. Н-никому! Зась!

— Го-го-го, — загрохотал оглушительно Картагенов. — Я раз выиграл на билет пятьсот рублей.

— Как это так, отец дьякон? На билет от конки?

— Ничуть не бывало. Взаправду. Мой батька, как вам, может быть, известно, был, вроде меня, соборным протодиаконом, но только не здесь, а в Москве. И голосом он обладал ужасающим, вроде царя-колокола или самолетского парохода. Что я перед ним? Моз-гляк! — рявкнул Картагенов, и от его возгласа заколебались огненные языки в лампах. — Однажды ему за свадебного апостола купцы подарили шесть выигрышных билетов. Тогда они еще по сту с небольшим ходили. Вот он, значит, все эти билеты перетасовал и раздал, как карты, не глядя, и потом на каждом надписал имена: свое, маменькино и нас четверых: мое, двух братьев и сестренкино. И засунул за образа.

Однако не застраховал. Побоялся искушения. Сказано в Писании: “Не надейтеся ни на князи, ни на сыны человеческие”. И положил он между нами всеми такой нерушимый уговор: если кто выиграет пятьсот рублей, тому выигрыш идет целиком, малолеткам — ко дню их совершеннолетия. А на руки — немедленная единовременная

премия, в пропорции возраста. Мне, например, было высчитано рубль сорок копеек. Если же на чей билет падет больше, то все деньги делятся между участниками и хранятся по уговору, хотя счастливцу все-таки выдается увеселительный наградной куш. За тысячу — три рубля, за пять тысяч — десять и так далее, с благоразумным уменьшением процентов. За двести же тысяч — пятьдесят целковых, по тогдашнему времени — целый корабль с мачтами и еще груженный золотом.

Пришло первое мая. Отец нарочно купил газету, надел очки и смотрит. Глядь — готово. Мой номер. Цифра в цифру. Так и напечатано: вышел в тираж погашения нумер такой-то, серия такая-то. Что такое за штука тираж — никому не было тогда известно: ни отцу, ни знакомым. Но, посоветовавшись с кое-какими ближними мудрецами, так и порешили, что, должно быть, слово это означает тоже выигрыш, а может быть, — почем знать? — и в удвоенном размере? Батька по этому поводу совершил обильное возлияние, а мне на радостях было выдано в задаток рубль и сорок копеек. Устроил я в тот же день Валтасарово пиршество. Купил на улице полный бочонок грушевого квасу и весь лоток моченых груш.

Угостился с приятелями квантум сатис[1], даже до полного расстройства стомаха[2].

Наутро батька попер с газетным листом на Ильинку к менялам, справиться, где и как получить выигранные деньги. Ему там и объяснили все его невежество. “Плакали, мол, отец дьякон, твои сто рубликов, а билет ты можешь оправить в рамку и повесить у себя в кабинете, как вечную память твоей глупости”. Обиделся он самым свирепым образом. Вернулся домой, точно грозовая туча. И прямо ко мне: “Скидывай портки!” — “За что, папенька?” — “А за то, за самое. Не обжорствуй мочеными грушами, в них бо есть блуд!” И такую прописал мне ижицу ниже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно. А остальные пять билетов в тот же день продал. “Не хочу, — сказал, — потворствовать мошенническим аферам”. Вот и все.

— Маловато, — заметил кто-то иронически.

— А что же? — возразил другой. — Хоть день, хоть час, а все-таки счастье. Разные там мечты, надежды, планы…

Все на минуту как-то задумчиво умолкли. Пер-

---

1 notes: 1
Вдоволь *(от лат. quantum satis).*

2 notes: 2
Желудка *(от греч. stomachos).*

вым заговорил Сребструнов:

— Если бы мне двести тысяч, я объездил бы Россию, все города и захолустья, и набрал бы самый замечательный в мире хор. И пел бы я с ним в Москве. А потом стал бы концертировать по Европе. Везде: в Париже, в Лондоне, в Риме, в Берлине. И приобрел бы я всесветную славу.

А Сугробова кормил бы сырым мясом и показывал в клетке за особую плату. Потому что за границей таких зверей еще не видывано.

— Ве-ерно, — протянул протодьякон низким, мягким и густым басом.

— Да-а, — подтвердил Сугробов на кварту ниже. — А я бы, — заговорил он с оживлением, — я бы сто пятьдесят этак тысяч отдал жене и сказал бы: “Вот тебе отступное. Живи себе как хочешь, пой, играй, пляши, а я — до свидания. Попытали меня десять лет, попили моей крови, пора и честь знать”. И ушел бы я на волю. Засим тридцать тысяч отделю в общий великий вселенский пропой, а на остальное куплю хату, на манер собачьей конуры, но с садом и огородом. И буду возрощать плоды и ягоды. И кор-не-плоды… — закончил он в нижнее контр-ля.

Многие засмеялись. Им было давно известно, в каком рабском подчинении держала этого мо-

гучего, черноземного, стихийного человека его жена — маленькая, тощая, языкатая женщина, ходячая злая скороговорка, первая ругательница на всем Житнем базаре.

И сразу весь банкетный кабинет закипел общим горячим разговором. Как это часто бывает, соблазнительная тема о всевластности денег волшебно притянула и зажгла неутолимым волнением этих бедняков, неудачников и скрытых честолюбцев, людей с расшатанной волей, с неудовлетворенным аппетитом к жизни, с затаенной обидой на жестокую судьбу. И тут сказалась, точно вывернувшись наизнанку, истинная, потаенная буднями натура каждого. Мечтали вслух о вине, картах, вкусной еде, о роскошной бархатной мебели, о далеких путешествиях в экзотические страны, о шикарных костюмах и перстнях, о собственных лошадях и громадных собаках, о великосветской жизни в обществе графов и баронов, о театре и цирке, об интрижке со знаменитой певицей или укротительницей зверей, о сладком ничегонеделании с возможностью спать сколько угодно часов в сутки, о лакеях во фраках и, главное, о женщинах, о целом гареме из женщин, о женщинах всех цветов, ростов, сложений, темпераментов и

национальностей.

Пожилой консисторский чиновник Световидов, умный, желчный и грубый человек, сказал ядовито:

— Ни у кого из вас нет человеческого воображения, милые гориллы. Жизнь можно сделать прекрасной при самых маленьких условиях. Надо иметь только вон там, вверху над собой, маленькую точку. Самую маленькую, но возвышенную. И к ней идти с теплой верою. А у вас идеалы свиней, павианов, людоедов и беглых каторжников. Двести тысяч — дальше не идут ваши мечтания. Но, во-первых, у вас у всех в общей сложности имеется наличного капитала один дырявый пятиалтынный. Во-вторых, ни у кого из вас не хватит выдержки сэкономить хотя бы сто рублей на покупку выигрышного билета. Карпенко, наверно, приобрел свой билет, зарезав родную тетку во время сна. И когда он выиграет двести тысяч, то как раз в тот же день его гнусное преступление раскроется и его, раба Божьего, повлекут в тюрьму. А в-третьих, даже и с билетом в кармане вероятность первого выигрыша равна одному шансу на десять миллионов, то есть почти нулю или бесконечно малой дроби. Стало быть, все, что вы говорите сию минуту, — одно

суесловие, раздражение пленной и жалкой мысли. Двести тысяч! Что за скудость фантазии!

— Ему бы миллион, — сказал чей-то недружелюбный голос в конце стола. — Известно, консистория — место хлебное, а глаза у нее завидущие.

— А что же? — спокойно возразил Световидов, даже не обернувшись. — Мечтать о несбыточном, так мечтать пошире. Миллионов десять — это, скажем, недурно. Можно прожить умно, полезно и со вкусом. Но почему бы вдруг не сделаться, по мановению волшебного жезла, например, царем? Но и тогда ваши телячьи головы ничего острого не вообразят. Знаете, есть побасенка. Русского рязанского мужичка спросили: “Что бы ты, Митенька, делал, если бы был царем?” — “А я бы, говорит, сидел целый день у ворот на завалинке и лузгал бы семечки. А как кто мимо идет — в морду. Как мимо — так в морду”. Ваша готтентотская фантазия не намного дальше хватает. Явись хоть сейчас к вам, к любому, дьявол и скажи: “Вот, мол, готовая запродажная запись по всей форме на твою душу. Подпишись своей кровью, и я в течение стольких-то лет буду твердо и верно исполнять в одно мгновение каждую твою прихоть”. Что каждый из вас продал бы свою душу с

величайшим удовольствием, это несомненно. Но ничего бы вы не придумали оригинального, или грандиозного, или веселого, или смелого. Ничего, кроме бабы, жранья, питья и мягкой перины. И когда дьявол придет за вашей крошечной душонкой, он застанет ее охваченной смертельной скукой и самой подлой трусостью.

Световидов замолчал, и никто не возразил ему. Слова его были подобны ледяному компрессу на пылающую голову. Только кто-то, скрытый в синем табачном дыму, спросил из угла, обращаясь к Цвету:

— Эй ты, Иоанне Цветоносный. А ты бы что бы? А?

— Я? — встрепенулся Цвет. Он блаженными, блестящими глазами уставился на лампу, и тотчас же от ее огня отделился другой огонь и легко поплыл вправо и вверх. — Я бы? Мне ничего не надобно. Вот хоть бы теперь… светло, уютно… компания милых, хороших товарищей… дружная беседа… — Цвет радостно улыбнулся соседям по столу. — Я хотел, чтобы был большой сад… и в нем много прекрасных цветов. И многое множество всяких птиц, какие только есть на свете, и зверей… И чтобы все ручные и ласковые. И чтобы мы с вами все там жили… в простоте, дружбе и

веселости… Никто бы не ссорился… Детей чтобы был полон весь сад… и чтобы все мы очень хорошо пели… И труд был бы наслаждением… И там ручейки разные… рыба пускай по звонку приплывает…

— Словом — рай! — прервал его Световидов.

А протодиакон, сидевший рядом, обнял Цвета, крепко притиснул к своей исполинской груди и одним сердечным поцелуем обмусолил его нос, губы, щеки и подбородок. И взревел ему в самое ухо:

— Ваня! Друг! Ангелоподобный!

Но в эту минуту появился хозяин трактира с третьим, и последним, напоминанием: “Во всем ресторане огни уже потушены. Пора расходиться. А то от полиции выйдут неприятности”. Стали расходиться.

Цвет возвращался домой в самом чудесном настроении духа. С нежным чувством глядел он, как на небе среди клубистых, распушенных облаков стремительно катился ребром серебряный круг луны, пролагая себе золотисто-оранжевый путь. И пел он на какой-то необычайно-прекрасный собственный мотив собственные же слова акафиста всемирной красоте: “Земли славное благоутробие и благоухание и небеси глубина

торжественная, людие веселием играша воспевающе…”

Взбирался он к себе на чердак очень долго, балансируя между стеной и перилами. По привычке бесшумно отпер наружную дверь, аккуратно разделся и лег в постель, поставив возле себя на стуле зажженную свечу. Взял было утреннюю недочитанную газету. Но буквы сливались в мутные полосы, а полосы эти принимали вращательное движение. Наконец веки, отяжелев, сомкнулись, и сознание Цвета окунулось в бездонную темноту и в молчание.

III

— Извиняюсь за беспокойство, — сказал осторожно чей-то голос.

Цвет испуганно открыл глаза и быстро присел на кровати. Был уже полный день. Кенарь оглушительно заливался в своей клетке. В пыльном, золотом солнечном столбе, лившемся косо из окна, стоял, слегка согнувшись в полупоклоне и держа цилиндр на отлете, неизвестный господин в черном поношенном, старинного покроя, сюртуке. На руках у него были черные перчатки, на груди — огненно-красный галстук, под мышкой древний, помятый, порыжевший портфель, а в ногах у него на полу лежал небольшой новый ручной саквояж желтой английской кожи. Странно знакомым показалось Цвету с первого взгляда узкое и длинное лицо посетителя: этот ровный пробор посредине черной, седеющей на висках головы, с полукруглыми расчесами вверх, в виде приподнятых концов бабочкиных крыльев или маленьких рожек, этот большой, тонкий, слегка крючковатый нос с нервными козлиными ноздрями, бледные, насмешливо изогнутые губы под наглыми воинственными усами, острая длинная

французская бородка. Но более всего напоминали какой-то давнишний, полузабытый образ — брови незнакомца, подымавшиеся от переносья круто вкось прямыми, темными, мрачными чертами. Глаза же у него были почти бесцветны или, скорее, в слабой степени напоминали выцветшую на солнце бирюзу, что очень резко, холодно и неприятно противоречило всему энергичному, умному, смуглому лицу.

— Я стучал два раза, — продолжал любезно, слегка скрипучим голосом незнакомец. — Никто не отзывается. Тогда решил нажать ручку. Вижу, не заперто. Удивительная беспечность. Обокрасть вас — самое нехитрое дело. Знаете, есть такие специалисты-воры, которые только тем и занимаются, что ходят по квартирам “на доброе утро”. Я бы, конечно, не осмелился тревожить вас так рано. — Он извлек из жилетного кармана древние часы, луковицей, с брелоком на волосяном шнуре, в виде Адамовой головы, и посмотрел на них. — Теперь три минуты одиннадцатого. И если бы не крайне важное и неотложное дело… Да нет, вы не волнуйтесь так, — заметил он, увидя на лице Цвета испуг и торопливость. — На службу вам сегодня, пожалуй, и вовсе не придется идти…

— Ах, это ужасно неприятно, — конфузливо сказал Цвет. — Вы меня застали неодетым, погодите немного. Я только приведу себя в порядок и сию минуту буду к вашим услугам.

Он обул туфли, накинул на себя пальто и выбежал в кухню, где быстро умылся, оделся и заказал самовар. Через очень короткое время он вернулся к своему гостю освеженный, хотя с красными и тяжелыми от вчерашнего кутежа веками. Извинившись за беспорядок в комнате, он присел против незнакомца и сказал:

— Теперь я готов. Сейчас нам принесут чай. Чем обязан чести…

— Сначала позвольте рекомендоваться. — Посетитель протянул визитную карточку. — Я — ходатай по делам. Зовут меня Мефодий Исаевич Тоффель.

“Странно. И фамилия как будто бы знакомая”, — подумал Цвет. Он слегка наклонил голову и с недоумением в глазах пробормотал:

— Очень приятно… Но я…

— Один момент… Простите, что перебиваю вас. Вашего покойного батюшку звали, если не ошибаюсь, Степаном Николаевичем. Не так ли?

— Совершенно точно.

— Хорошо. Значит, старшего его братца, тоже

ныне покойного, имя-отчество было Аполлон Николаевич? Верно?

— Верно. Но мне лично не приходилось ни разу в жизни видеть его. Я только изредка слышал о нем кое-что по семейным воспоминаниям родителей. Но это было уже очень давно… Так, какие-то мелочи… и мне очень совестно, что я, кажется, совсем забыл их.

— Это вовсе и не важно. Пара пустяков, — небрежно махнул рукой ходатай и тотчас же, раскрыв свой потертый портфель, вытащил из него с ловкостью фокусника и выкинул на стол одну за другой несколько бумаг разного формата. — Для нас самое главное в нашем деле то, что ваш почтенный дядюшка был при жизни большим оригиналом, то есть мизантропом, нелюдимом и даже, говорят, алхимиком. Словом — что называется — чудаком.

— Да, я что-то слышал в этом роде. Но помню это смутно, точно сквозь сон. Наша семья вообще не поддерживала с ним никаких связей. Утеряли их. Впрочем, без всякой ссоры.

— Так. Теперь ближе к делу. Десять лет тому назад ваш дядюшка волею судьбы покинул земную юдоль. Для вас это событие, очевидно, не имело никакого существенного значения, кроме вполне

естественного сознания горестной утраты. А между тем после Аполлона Николаевича осталось небольшое наследство, состоящее из нескольких сот десятин недвижимости в Черниговской губернии: земля, лесок и довольно значительная усадьба со старым барским домом. Лет восемь это имущество считалось бесхозяйным, почти вымороченным. А так как я специально занимаюсь розысками по таким, неведомо кому принадлежащим имуществам, то, узнав случайно про Червоное, я и пошел по обратным жизненным следам вашего покойного дядюшки. Положение мое было довольно тяжелое. Завещания нет, законные наследники не объявляются. Соседи по имению знакомства с Аполлоном Николаевичем не вели, видели его только издали и подозревали, что он был или масон, или изобретатель, или анархист — какое ему дело до завещания? Крестьяне же все убеждены, что он занимался чародейством и, пожалуй, даже продал душу дьяволу. Но путем разных намеков и умозаключений я стал медленно пробираться по этапам жизни вашего дядюшки и вот, наконец, в Витебске, в полусгоревшем архиве нотариуса, набрел на подлинное, хотя и очень старинное завещание, по которому земля и усадьба, с постройками и

со всем живым и неживым инвентарем, должны перейти к старшему в роде. По наведенным справкам, этим старшим в роде являетесь вы, глубокоуважаемый Иван Степанович, с чем я и имею честь вас искренно поздравить.

Тоффель, сидя, поклонился. Цвет покраснел и протянул ему руку. Пожатие руки, обтянутой в черную перчатку, было твердо и сухо.

— И чтобы не быть голословным, — продолжал Тоффель, — позвольте предоставить вам все документы, ясно доказывающие ваши права. Вот завещание. Вот ввод во владение… Наследственные и иные пошлины. Вот расписка в получении поземельных и прочих налогов, с прибавкой пеней за истекшие годы. Вот трата-та, тра-та, — забарабанил ходатай казенными словами и пестрыми дробными цифрами.

Говоря таким образом, он с прежней привычной ловкостью быстро подсовывал Цвету одну за другой бумаги, четко написанные и набранные на машинке, отмеченные круглыми печатями, чернильными и сургучными, и украшенные мудреными завитушками подписей и росчерков.

“Как его звать? — подумал Цвет и поглядел на карточку, потом на Тоффеля. — Удивительно знакомое имя. И где же я наконец видел эту

странно-памятную, необычайную физиономию?” И он сказал вслух с некоторой робостью:

— Но видите ли, почтенный Мефодий Исаевич. Все это так неожиданно… Я ничего не понимаю в подобных делах. И потом, ведь это так далеко — Черниговская губерния…

— Стародубский уезд, — подсказал Тоффель.

— Вот видите. Я положительно теряюсь и должен поневоле просить ваших указаний… Кроме того, ваши любезные хлопоты… Вы уж будьте добры сами назначить сумму вознаграждения.

Тоффель дружелюбно рассмеялся и слегка, очень вежливо, притронулся к коленке Цвета.

— Гонорар — второстепенный вопрос. Не обидим друг друга. Я наводил о вас справки. Простите, мы, деловые люди, не можем иначе. И повсюду я получил о вас сведения, как о самом порядочном, честном человеке, как о настоящем джентльмене, к тому же весьма щедрого характера. За себя на этот счет я покоен. Ну, скажем, двадцать, пятнадцать процентов с казенной оценки? Если это вам покажется чрезмерным, я удовольствуюсь десятью.

— О нет, пожалуйста, пожалуйста. Пусть будет двадцать.

— Признателен, — поклонился Тоффель. — И те-

перь, раз уже вы сами сделали мне честь просить моего совета, позволяю себе усердно рекомендовать вам: немедленно же, как можно скорее, ехать в Черниговщину и осмотреть имение. Я даже буду настаивать, чтобы вы отправились сегодня же.

— Позвольте, но это уже совсем немыслимо. Надо выпросить отпуск… Необходимо достать денег на дорогу… Собраться… И мало ли еще что?

— Пара пустяков, — самодовольно и ласково возразил ходатай. — Во-первых, вот вам ваш отпуск. Я его выхлопотал за вас еще сегодня утром через вашего экзекутора Луку Спиридоновича. К чести его надо сказать, что взял он с меня совсем немного и с готовностью побежал к председателю. Оба они рады вашему счастью, как своему собственному. Вы положительно баловень фортуны. Пожалуйте.

— Вы — волшебник, — прошептал изумленно Цвет, рассматривая свой месячный, по семейным надобностям, отпуск, подписанный председателем и скрепленный экзекутором. И даже почерк текста чуть-чуть походил на почерк самого Цвета, хотя Иван Степанович сейчас же подумал, что все каллиграфические рондо схожи одно с другом.

— И насчет денег не беспокойтесь. Мой долг —

это уж так водится у нас, адвокатов, — ссудить вас заимообразно необходимой суммой, разумеется, под самые умеренные проценты. Будьте добры пересчитать. В этой пачке ровно тысяча. Нет, нет, вы уж потрудитесь послюнить пальчики. Деньги счет любят. А вот и расписка, которую я заранее заготовил, чтобы не терять напрасно дорогого времени. Черкните только: “И. Цвет” — и дело в шляпе.

Цвет был ошеломлен.

— Вы так любезны и предупредительны… что я… что я… право, я не нахожу слов.

— Сущий вздор, — фамильярно, но учтиво отстранился ладонью Тоффель. — Пара пустяков. А вот теперь, когда формальности покончены, осмелюсь преподнести вам еще один сюрприз.

Из портфеля прежним чудесным способом появились два картонных обрезочка.

— Это билет первого класса до станции Горынище, а это плацкарта на нижнее место. Билеты взяты на сегодня. Поезд отходит ровно в одиннадцать тридцать. Пароконный извозчик дожидается нас у подъезда. Вам, следовательно, остается только положить в карман паспорт и записную книжку, надеть шляпу, взять в руку

тросточку и затем: “Andiam, andiam, mio caro…”[3] — пропел очень фальшиво, козлиным голосом Тоффель. — А с вашего разрешения, я пособлю вам уложиться!

— Ах, что вы, помилуйте… Ради Бога! — смутился Цвет.

Лицо Тоффеля сморщилось шутливой, но весьма отвратительной гримасой.

— Экий вы щепетильный какой. Но в таком случае не откажите уж принять от меня небольшой дорожный подарочек — вот этот саквояж. Нет, нет, убедительно прошу не отказываться. Я нарочно выбирал эту вещицу для вашего путешествия. Вы меня обидите, не приняв ее. Подумайте, ведь я с вас заработаю немалый куртаж.

— Спасибо, — сказал Цвет. — Прелестная вещь. — Он чувствовал себя неловко, точно связанным, точно увлекаемым чужой волей. Минутами неясная тревога омрачала его простое сердце. “Какая изысканная заботливость со стороны этого чужого человека, — думал он, — и как поразительно скоро совершаются все события! Право — точно во сне. Или я и в самом деле сплю? Нет, если бы я спал, то не думал бы, что сплю. И лицо, лицо…

---

3 notes: 3

Пойдем, пойдем, мой дорогой… *(ит.)*

Где же я его видел раньше?”

— Но как все это необыкновенно, — сказал он из глубины шкапа, где перебирал свои туалетные принадлежности. — Если бы мне вчера кто-нибудь предсказал сегодняшнее утро, я бы ему в глаза рассмеялся.

Он медлил, но Тоффель с дружеской настойчивостью, одновременно почтительной и развязной, продолжал погонять его.

— Ах, молодой человек, молодой человек… Как мало в вас предприимчивости. Впрочем, и все мы, русские, таковы: с развальцей, да с прохладцей, да с оглядочкой. А драгоценное время бежит, бежит, и никогда ни одна промелькнувшая минута не вернется назад. Ну-с, живо, по-американски, в три приема. Ваши новые ботинки за дверью. Я попросил горничную их вычистить. Вас, может быть, удивляет, что я вас так тороплю? Но, во-первых, я и сам не имею ни секунды свободной. Вот провожу вас, и сейчас же мне надо скакать в уезд, по срочным делам. Волка ноги кормят. Ничего, ничего… Одевайтесь при мне без всякого стеснения. Я — мужчина. А во-вторых, сами посудите, что выйдет хорошего, если вы проканителитесь в городе несколько лишних дней? Ведь теперь уже всем вашим знакомым и множеству незнакомых

известно через экзекутора о свалившемся на вашу голову наследстве. О, мне хорошо известна человеческая натура. Начнут клянчить взаймы, потребуют вспрыснуть получку, добрые мамаши взрослых дочерей устроят на вас правильную облаву с загоном, Вы — человек слабый, мягкий, уступчивый — хороший товарищ. Еще завертитесь, чего доброго, и наделаете долгов. Я знаю такие примеры. А тут еще подвернется какое-нибудь этакое соблазнительное увлечение, вроде красотки из кондитерской, как та, — помните? — полная блондинка за прилавком у Дюмона, первая от окна, с сапфировыми глазками? Право, слушайте вы меня, старого воробья. Я худу не учу. Тем более что вы с первого взгляда внушили мне самую глубокую, можно сказать отеческую, симпатию. Вы только не обращайте на меня внимания, укладывайтесь, укладывайтесь! А я тем временем передам вам кое-какие нужные сведения. Простыней и подушек, пожалуйста, уж не берите с собой. Все дадут вам в спальном вагоне, а в усадьбе есть много прекрасного, тонкого голландского белья. И сорочек много не надо. Две, три перемены. Возьмите мягкие, fantaisie. Немного платков и носков. Прескверная у нас привычка путешествовать с целым караван-са-

раем. По этой примете всегда за границей узнают русских. Берите только то, что уместится в саквояж. Остальное лишнее. Едете всего на два, на три дня.

Ну так слушайте же. Имение, правду говоря, хоть и не заложено, но в страшном забросе. Триста с небольшим десятин. Из них удобной земли полтораста, и ту запахали дружественные поселяне. Владение обставлено сотнями идиотских неудобств. Чересполосица, рядом чиншевые наделы, до сих пор существует не только сервитутное право, но даже в силе какая-то, черт бы ее побрал, "улиточная запись". Нет, совсем серьезно уверяю вас, что есть и такие юридические курьезы! Мое мнение — землю продать. Возиться с ней — это, как говорят поляки, "более змраду, як потехи". Тут не только вы с вашей полной неопытностью, но даже первый выжига, кулак, практик — сядет в калошу… Вы выбираете галстуки? Советую вам этот, черный с белыми косыми полосками. Он солиднее… Остается усадьба. Она велика, но мрачна и на сыром месте. Фруктовый сад стар, запущен и выродился без ухода. Инвентаря — никакого. Дом — сплошная рухлядь, гнилая труха. Деревянная, источенная червями двухэтажная постройка времен Александра

Первого, с кривыми колоннами и однобоким бельведером. На него дунуть — рассыплется. Стало быть, и усадьбу побоку. Вы только осмотритесь там на месте, а я уж здесь, будьте покойны, приищу вам невредного покупателя. Вряд ли и вещи сколько-нибудь ценные найдутся в доме. Все — хлам. Осталась там небольшая библиотека, но она вас мало заинтересует. Все больше по оккультизму, теософии и черной магии… Ведь вы человек верующий? — Тоффель, не оборачиваясь, кивнул головой назад, на образа. И, должно быть, от этого движения судорога скрутила ему шею, потому что он болезненно сморщился. — И вам, такому свежему, милому, не след, да и будет скучно заниматься сумасбродной ерундой. Вы лучше эту пакость сожгите! А? Право, сожгите. Я говорю из чувства личной, горячей симпатии к вам. Обещаете сжечь? Да? Хорошо? Ну, дайте же, дайте мне слово, прелестный, добрый Иван Степанович.

— Даю, даю. Сделайте милость. Господи!..

— Крр… — издал ходатай горлом странный трескучий звук.

— Что с вами? — заботливо спросил Цвет.

— Ничего, ничего, не беспокойтесь… Немного поперхнулся. Что-то попало в дыхательное. Ну,

вы, кажется, готовы? Так едемте же. На вокзале у нас еще хватит времени слегка позавтракать и распить за здоровье нового помещика бутылочку. Поммери-сек. Нет, уж вы выходите первым. Я за вами. По-румынски. Вот так.

Через час этот энергичный, всезнающий, все предвидящий делец услужливо подсаживал Цвета на ступеньки вагона первого класса. В последнюю минуту как-то само собой очутилась в его руках изящная, небольшая плетеная корзиночка. Подавая ее вверх, в руки Цвета, он сказал с приятной улыбкой:

— Не откажите принять. Это так… дорожная провизия… Немного икры, рябчики, телятина, масло, яйца и другая хурда-мурда. И парочка красного, мутон-ротшильд. Не поминайте же лихом. Ждите от меня телеграммы… А если будет надобность, телеграфируйте мне сюда, в Бель-вю. До свидания. Не хочу затруднять нелепым торчанием у вагона. Мои комплименты.

И, галантно поцеловав кончики обтянутых черной перчаткой пальцев, он скрылся в толпе.

IV

Дорога промелькнула необыкновенно быстро. Ни разу еще в своей жизни не путешествовал Цвет с такими широкими удобствами, и никогда не бежало так незаметно для него время. Попадались ему очень любезные спутники — вежливые, внимательные, разговорчивые без навязчивости. Сладко и глубоко спал Цвет две ночи под плавное укачивание пульмановских рессор, а днем любовался из окна на реки, поля, леса и деревни, проходящие мимо и назад, или основательно и с толком закусывал в светлом нарядном вагоне-ресторане, где на блестящих снежных скатертях раскачивали свои яркие головки цветы, а за столами сидели обычные дамы поездов-экспрессов: все, как на подбор, большие, пышнотелые, роскошно одетые, самоуверенные, с громким смехом и французскими словами, — женщины, пахнувшие крепкими, терпкими духами. Для него они были созданиями с другой планеты и возбуждали в нем любопытство, удивление и стеснительное сознание собственной неловкости.

Одно только беспокоило и как-то неприятно,

пугающе раздражало Цвета в его праздничном путешествии. Стоило ему только хоть на мгновение возвратиться мыслью к конечной цели поездки, к этому далекому имению, свалившемуся на него точно с неба, как тотчас же перед ним вставал энергичный, лукавый и резкий лик этого удивительного ходатая по делам — Тоффеля, и появлялся он не в зрительной памяти, где-то там, внутри мозга, а показывался въявь, так сказать живьем. Он мелькал своим крючконосым, крутобровым профилем повсюду: то на платформе среди суетливой станционной толпы, то в буфете первого класса в виде шмыгливого вокзального лакея, то воплощался в затылке, спине и походке поездного контролера. “Просто какое-то наваждение, — думал тревожно Цвет. — Неужели так прочно запечатлелся в моей душе этот странный человек, что я, даже отделенный от него большим пространством, все-таки брежу им так сильно и так часто”.

К концу вторых суток Цвет сошел на станции Горынище и нанял за три рубля сивоусого дюжего хохла до Червоного. Когда Цвет по дороге объяснил, что ему надо не в деревню, а в усадьбу, возница обернулся и некоторое время рассматривал его с пристальным и бесцеремонным

любопытством.

— Так-таки до самого, до паньского фольварку? — спросил он наконец недоверчиво. — До того Цвета, що вмер?

— Да, в имение, в господский дом, — подтвердил Иван Степанович.

— Эге ж. — Старик чмокнул на лошадей губами. — А вы сами из каких будете?

Цвет рассказал вкратце о себе. Упомянул и о наследстве и о родстве. Старик медленно покачал головой.

— Эх, не доброе діло… Не фалю.

— Почему не хвалите, дядя?

— А так… Не хочу…

И замолчал. Так они в безмолвии проехали около двенадцати верст до села Червоного, раскинувшегося своими белыми мазанками и кудрявой зеленью садов на высоком холме над светлой речонкой, свернули через плотину и подъехали к усадьбе, к чугунным сквозным воротам, распахнутым настежь и криво висевшим на красных кирпичных столбах. От них вела внутрь заросшая дорога, посредине густой аллеи из древних могучих тополей. Вдали серела постройка, белели колонны и алым отблеском дробилась в стеклах вечерняя заря. У ворот старик остановил

лошадей и сказал решительно:

— Вылазьте, ну, панычу. Бильшь не поiду.

— Как же это так не поедете? — удивился Цвет. — Осталось ведь немного. Вон и дом виден.

— Ни. Не поiду. А ни за пьять корбованцив. Не хочу.

Цвет вспомнил слова Тоффеля о дурной славе, ходившей среди крестьян про старую усадьбу, и сказал с принужденной усмешкой:

— Боитесь, верно?

— Ни. Ни трошки не боюсь, а тилько так. Платите мини мои гроши, тай годи.

Попросив возчика подождать немного, Цвет один пошел по темной, прохладной аллее к дому. Тоффель говорил правду. Постройка оказалась очень древней и почти развалившейся. Покрившиеся колонны, некогда обмазанные белой известкой, облупились и обнажили гнилое, трухлявое дерево. Кой-где были в окнах выбиты стекла. Трава росла местами на замшелой, позеленевшей крыше. Флюгер на башенке печально склонился набок. В саду, под коряво разросшимися деревьями, стояла сырая и холодная темнота. Крапива, лопухи и гигантские репейники буйно торчали на местах, где когда-то были клумбы. Все носило следы одичания и запустения.

Цвет обошел вокруг дома. Все наружные двери — парадная, балконная, кухонная и задняя, ведшая на веранду из разноцветных стекол, — были заперты на ключ. С недоумением, скукой и растерянностью вернулся Цвет к экипажу.

— А где бы мне здесь, дяденька, ключи достать? — спросил он. — Всюду заперто.

— А чи я знаю? — равнодушно пожал плечами мужик. — Мабудь, у господина врядника, чи у станового, чи у соцького, а мабудь, у старосты альбо учителя. Теперички вси забули про цее бисово кубло. И хозяина нема ему. Вы мене, прошу, звините, а тальки люди недоброе балакают про вашего родича. Бачите — такее зробилось, що, кажуть, поступил он на службу до самого до чертяки… И загубил свою душу, а ни за собачій хвист. И вас, панычу, нехай боронит Господь Бог и святый Мыкола.

Он едва заметным движением перекрестил пуговицу на свитке. Внезапно откуда-то сорвался ветер. Обвисшая половина ворот пошатнулась на своих ржавых петлях и протяжно заскрипела.

“Точь-в-точь как голос Тоффеля”, — подумал Цвет. И в тот же миг рассердился на себя за это назойливое воспоминание.

— А ну, седайте, панычу, скорійше и поидеме

до села, — сказал хохол.

Опять пришлось переправляться через плотину и подыматься вверх в Червоное. После долгих розысков, наводивших суеверный ужас на простодушных поселян, Цвет отыскал наконец след ключей, которые, оказалось, хранились уже много лет у церковного сторожа. Сообщил ему об этом священник. У него Иван Степанович немного передохнул и даже выпил чашку чая, пока толстопятая дивчина Гапка бегала за сторожем.

Батюшка говорил, поглаживая рукой пышную седеющую бороду и сверля Цвета острыми, маленькими, опухшими глазками:

— Как человек до известной степени интеллигентный я отнюдь не разделяю глупых народных примет и темных суеверий. Но как лицо духовное не могу не свидетельствовать о том, что в творениях отцов церкви упоминается, и даже неоднократно, о всевозможных кознях и ухищрениях князя тьмы для уловления в свои сети слабых душ человеческих. И потому, во избежание всяких кривотолков и разных бабьих забубонов, позволяю себе предложить вам хоть на сию ночь мое гостеприимство. Постелят вам вот здесь, в гостиной, на диванчике. Не весьма роскошно и, пожалуй, узковато, но, извините,

чем богаты… А дом успеете осмотреть завтра утром. Поглядите, какая темь на дворе.

Цвет обернулся к окнам. Они были черны. Ему хотелось принять предложение священника, потому что изможенное дорогой тело просило отдыха и сна, но какое-то властное и томительное любопытство неудержимо тянуло его назад, в старый заброшенный дом. Он поблагодарил и отказался.

Пришел церковный сторож, древний маленький старичок, уже не седой, а какой-то зеленоватый, и так скрюченный ревматизмом, что казалось, он все время собирается стать на четвереньки. В руках он держал большой фонарь и связку огромных ржавых ключей. На прощание батюшка дал Цвету запасную свечу и пригласил его на завтрак к утреннему чаю.

— Если что понадобится, рад служить. По-соседски. Как-никак, а будем жить рядом. Но простите, что не провожаю лично. Народ у нас сплетник и дикарь, и даже многие склоняются к унии.

Ночь была темна и беззвездна, с легким теплым ветром. Светло-желтое, мутное пятно от фонаря причудливо раскачивалось на колеях, изборождавших дорогу. Цвет не видел своего провожатого, шедшего рядом, и с трудом разбирал

его слабый, тонкий, шамкающий голос. Старик, по его словам, оказывался единственным бесстрашным человеком во всем Червоном, но Цвет чувствовал, что он привирает для собственной бодрости.

— Чего мне бояться. Я ничего не боюсь. Я — солдат. Еще за Николая, за Первого, севастопольский. И под турку ходил. Солдату бояться не полагается. Пятнадцать лет я сторожем при церкви и на кладбище. Пятнадцать лет моя такая должность. И скажу: все пустое, что бабы брешут. Никаких нет на свете ни оборотней, ни привидениев, ни ходячих мертвяков. Мне и ночью доводится иной раз сходить на кладбище. В случае воры или шум какой и вообще. И хоть бы что. Которые умерли, они сидят себе тихесенько на спинке, сложивши ручки, и ни мур-мур. А нечистая сила, так это она в прежние времена действовала, еще когда было припасное право, когда мужик у помещика был в припасе. Тогда, бывало, иной землячок, отчаявшись, и душу продавал нечистому. Это бывало. А теперь вся чертяка ушла на зализную дорогу да на пароходы, чтоб ей пусто было. Вот еще по электричеству работает.

Старик, а за ним Цвет прошли через ворота, уныло поскрипывавшие голосом Тоффеля, вдоль

черной аллеи, глухо шептавшей невидимыми вершинами, до самого дома. Долго им обоим пришлось повозиться с ключами. Покрытые древней ржавчиной, они с трудом влезали в замки и не хотели в них вращаться. Наконец, после долгих усилий, подалась кухонная дверь. Кажется, она не была даже заперта, а просто уступила сильному толчку.

Старик ушел, отдав Ивану Степановичу свой фонарь. Цвет остался в пустом и незнакомом доме. Он не испытывал страха: ужас перед сверхъестественным, потусторонним был совершенно чужд его ясной и здоровой душе, — но от дороги у него сильно болела голова, все тело чувствовало себя разбитым, и где-то глубоко в сознании трепетало томительное любопытство и смутное предчувствие приближающегося необычайного события. С фонарем в руке обошел он все комнаты нижнего этажа, странно не узнавая самого себя в высоких старинных, бледно-зеленых зеркалах, где он сам себе казался кем-то чужим, движущимся в подводном царстве. Шаги его гулко отдавались в просторных пустынных покоях, и было такое ощущение, что кто-то может проснуться от этих звуков. Обои оборвались, отклеились и свисали большими колеблющимися лоскутами. Все по-

коробилось, сморщилось от времени и издавало тяжелые старческие вздохи, кряхтение, жалобные скрипы: и иссохшийся занозистый паркет, и резные раскоряченные стулья, и кресла красного дерева, и причудливые фигурные диваны, с выгнутыми, в виде раковин, спинками. Огромные шатающиеся хромоногие шкапы и комоды, картины и гравюры на стенах, покрытые слоями пыли и паутины, бросали косые, движущиеся тени на стены. И тень от самого Цвета то уродливо вырастала до самого потолка, то падала и металась по стенам и по полу.

Тяжелые драпри на окнах и дверях слегка пошевеливали своими мрачными глубокими складками, когда мимо них проходил одинокий, затерянный в безлюдном доме человек

По винтовой узенькой лестнице Цвет взобрался наверх, во второй этаж. Там все комнаты были завалены и заставлены всяким домашним скарбом: поломанной мебелью, кучами тканей, сундуками, рогожами, корзинами, связками старых газет. Но две комнаты сохранили живую своеобразную физиономию. Одна из них раньше служила, вероятно, спальней. В ней до сих пор еще сохранились умывальник, туалетный стол и зеркальный гардеробный шкап. Вдоль стены стоял прекрасный

старинный турецкий диван, обитый оленьей кожей, — такой ширины и длины, что на нем могли бы улечься поперек шесть или семь человек. На полу лежал огромный, чудесных красных тонов, текинский ковер. Другая комната, несколько больших размеров, сразу удивила и очаровала Цвета. Она одновременно походила и на редкостную любительскую библиотеку, и на кабинет чертежника, и на лабораторию алхимика, и на мастерскую кузнеца. Больше всего занимал места зияющий черной пастью горн с нависшим челом, сложенный из массивного прокопченного кирпича; около него, сбоку, на подставке, помещались раздувательные двойные меха. Один круглый, треногий стол был уставлен ретортами, колбами, пробками, тиглями, мензурками, термометрами, весами всяких родов и многими другими инструментами, смысл и назначение которых Цвет не в состоянии был постичь. Однако он заметил, что на многих из хрустальных флакончиков, наполненных порошками и жидкостями, приклеены были этикеты с рисунком мертвой головы или с латинской надписью “venena”[4].

Другой стол, ясеневый, большой, на козлах,

---

4 notes: 4
яд *(лат.).*

похожий на обычные чертежные столы, был завален папирусными свитками, записными книжками, исчерченными и исписанными листами бумаги, циркулями, линейками, а также книгами всяких форматов. Впрочем, книги были повсюду: на стульях, на полу и главным образом на дубовых полках, прибитых вдоль стен, в несколько этажей, где они стояли и лежали в полнейшем беспорядке, все очень старинного, солидного вида, большинство in folio[5], в толстых кожаных переплетах, на которых тускло поблескивало золотое тиснение.

Два предмета на ясеневом столе привлекли особенное внимание Цвета: небольшая, в фут длиною, черная палочка; один из концов ее обвивала несколько раз золотая змейка с рубиновыми глазами; а также шар величиною в крупное яблоко из литого мутного стекла или из полупрозрачного камня, похожего на нефрит, опал или на сардоникс. Палочка была тяжела, как свинцовая или налитая ртутью, и чрезвычайно холодна на ощупь. Шар же, когда его взял в руку Цвет, поразил его своей легкостью, хотя не было сомнения в том, что он состоял из сплошной

---

5 notes: 5
форматом в половину бумажного листа *(лат.).*

массы. От него исходила странная, точно живая, теплота, и в глубине его, в самом центре, рдел странный, густой и, в зависимости от поворотов около фонаря, то бархат-но-зеленый, то темно-фиолетовый крошечный огонек. Поверхность его под пальцами давала ощущение, подобное тому, какое дают тальк, стеарин, мыло или слюда. Но чувствовалось, что он прочен, как стальной.

Поставив фонарь на стол, Цвет опустился возле него в глубокое старинное, мягкой кожи кресло и, движимый каким-то необъяснимым, бессознательным любопытством, точно управляемый чьей-то чужой нежной, но могучей волей, потянулся за одной из лежавших на столе книг, переплетенной в ярко-красный сафьян, и раскрыл ее.

На самом верху первой, обычно пустой страницы выцветшими рыжими чернилами, очевидно гусиным пером, четким старинным почерком с раздельными буквами в словах, с “н”, похожим на “т”, и “д” — на “п”, тем характерным почерком конца восемнадцатого столетия, который так наивно схож с печатным курсивом того времени, было очаровательно-красиво выведено:

“Сия книга замет, наблюдений и опытов начата Отставным Лейб-гвардии Поручиком князем Ни-

китой Федоровичем Калязиным Апреля 11-го дня, 1786-го года в усадьбе Свистуны, Калязинской вотчины, Пензенской губернии".

Несколько ниже, посредине страницы, круглым почерком николаевских времен со множеством завитков над большими буквами и с закорючками, на хвостах выступающих букв, вроде "р", "д", "у", "з" и тому подобное, стояло:

"Сию книгу разыскал на ларьке у Сухаревой башни 24-го апреля 1848 года и того же числа приступил к ее продолжению дворянин Сергей Эрастович Гречухин.

Москва, Сивцев-Вражек, свой дом".

И еще ниже — мелким, легким, грациозным, без малейших нажимов, своеобразным почерком умницы, скупца, фантазера и математика:

"По мере слабых сил буду продолжать этот великий труд, оставленный мне по завещанию, как неоцененный дар, моим учителем и другом. Надворный советник Аполлон Цвет. 1899 г. Апреля 3-го, ус. Червоное, Черниг. губ., Стародубского у.".

С почтительным, тревожным и умильным чувством принялся Цвет бережно перелистывать одну за другой твердые, как картон, желтые, как слоновая кость, страницы.

Но содержание книги было выше тех средств,

которыми Цвет располагал. На каждом шагу попадались в ней места, а порою и целые страницы, написанные по-французски и по-немецки, часто по-латыни, реже по-гречески, иногда же встречалась пестрая восточная вязь — не то арабская, не то еврейская. Из латинских слов Цвет еще кое-как, с трудом, напрягая усиленно память, понимал десятое слово (он когда-то в свое время дошел до четвертого класса классической гимназии), но целых изречений одолеть не мог. Русский текст двух первых владельцев книги был также чрезвычайно тяжел для уразумения. Он был написан тем старинным высокопарным, таинственным и туманным слогом, каким писали прежде розенкрейцеры, а потом масоны.

Сравнительно понятнее были русские строки, набросанные изумительно красивым, прихотливым, тонким почерком покойного Цвета. Но смысл их был или иносказателен, или содержал неинтересные, сухие и краткие заметки о погоде, об атмосферических явлениях, о некоторых открытиях в области химии, физики и астрономии, о кончинах никому не известных и ничем не замечательных людей.

Зато многие места в дядином писании были, очевидно, зашифрованы, потому что пред-

ставляли из себя, по первому взгляду, полную бессмыслицу. Однако Цвету после небольших попыток удалось найти ключ. Он был не особенно обычен, но и не чрезвычайно труден. Оказалось, надо было в каждом слове, вместо первой его буквы, подставлять букву, следующую за нею в порядке алфавита, вместо второй — третью, вместо третьей — четвертую и так далее. Таким образом, в этих секретных записях буква “а” значила местоимение “я”, буква “к” — союз “и”, “пессв” расшифровывались в “огонь”, часто встречающийся знак “ехт” значил — “дух”, “тнсжу” — читалось как “слово”, нелепое “грлбсп” означало “возьми”.

Но и раскрытие шифра не повлекло за собой ничего нового. Разгаданные фразы выходили запутанными, величественными и темными, подобно изречениям оракулов или духов на спиритических сеансах. Чтобы их одолеть, надо было быть алхимиком, астрономом, герметистом или теософом. Цвет же был всего-навсего скромным сиротским чиновником и лишь недурным разгадывателем невинных журнальных ребусов и шарад. Однако через несколько минут его способность к раскрыванию замаскированных речей все-таки пригодилась ему.

Вся книга была вперемежку с текстом испещрена множеством странных рецептов, сложных чертежей, математических и химических формул, рисунков, созвездий и знаков зодиака. Но чаще всего, почти на каждой странице, попадался чертеж двух равных треугольников, наложенных друг на друга так, что основания их противолежали друг другу параллельно, а вершины приходились — одна вверху, другая внизу, и вся фигура представляла из себя нечто вроде шестилучной звезды с двенадцатью точками пересечений. Чертеж этот так и назывался в дядюшкином шифре “звездой Соломона”.

И всегда “звезда Соломона” сопровождалась на полях или внизу столбцом из одних и тех же семи имен, написанных на разных языках: то по-латыни, то по-гречески, то по-французски и по-русски:

Асторет (иногда Астарот или Аштарет).

Асмодей.

Велиал (иногда Ваал, Бел, Вельзевул).

Дагон.

Люцифер.

Молох.

Хамман (иногда Амман и Гамман).

Видно было, что все три предшественника

Цвета старались составить из букв, входящих в имена этих древних злых демонов, какую-то новую комбинацию, — может быть, слово, может быть, целую фразу, — и расположить ее по одной букве в точках пересечения “звезды Соломона” или в образуемых ею треугольниках. Следы этих бесчисленных, но, вероятно, тщетных попыток Цвет находил повсюду. Три человека последовательно, один за другим, в течение целого столетия, трудились над разрешением какой-то таинственной задачи: один — в своей княжеской вотчине, другой — в Москве, третий — в глуши Стародубского уезда. Одно диковинное обстоятельство не ускользнуло от внимания Цвета. Как фантастически ни перестраивали и ни склеивали буквы прежние владельцы книги, всегда и неизбежно в их работу входили два слога: Sa-tan.

Яснее всего о бесплодности этих попыток высказался Аполлон Цвет в своей последней заметке на двести тридцать шестой странице. Там стояли следующие зашифрованные слова, продиктованные отчаянием и усталостью: “Подумать только! Семнадцать букв. Из них надо выбрать тринадцать. Пять найдено: Sa-tan. Два раза “А”. Итого четыре. Еще одиннадцать. Или восемь? Или буквы опять повторяются? По теории чисел

возможны миллионы комбинаций, сочетаний и перемещений. Ключ к страшной формуле Гермеса Трисмегиста утерян. Кем? Великим Парацельсом? Или этим всесветным бродягой и авантюристом Калиостро? Все мы бредем ощупью, и только безумный случай может прийти на помощь счастливцу. Или воля мудрых пропала безвозвратно?"

Ниже этих строк, немного отступя, стояли еще три строки, исписанные очень неразборчиво, дрожащей рукой:

"Чувствую упадок сил. Заканчиваю свой труд. Все напрасно! Передаю следующему за мной. В ключе формула. В формуле — сила. В силе — власть.

А. Цвет".

У Ивана Степановича в кармане была записная книжка, а в ней всегда находился анилиновый карандаш. Цвет достал его, послюнил и с решимостью вдохновения написал на первой странице следующее:

"26-го апреля 19** года сию книгу нашел в ус. Червоное и труд почтенных предшественников продолжен. Канц. Служ. И. Цвет. Червоное".

И когда он снова развернул книгу наудачу, на середине, она открылась как раз там, где лежала

странная закладка: тонкая из желтоватой массы таблетка вершков четырех в квадрате с вырезанным на ней рисунком “звезды Соломона” и множество крошечных сантиметровых квадратиков из того же матерьяла; на каждом из них была выгравирована и выведена черным лаком латинская буква. Цвет перевернул книгу, взявшись за оба корешка, и сильно потряс ее. Еще несколько квадратиков с легким стуком упали на стол. Цвет пересчитал: их было сорок четыре.

“Странно, — подумал он. — Неужели мне суждено открыть то, что не давалось трем умным и образованным людям на протяжении целого века? Ну, что же… попробуем…”

В фонаре свеча догорала. Цвет зажег запасную, подержал ее тупой конец на огне и прилепил свечу прямо на стол, фонарь же задул. Теперь ему стало светлее, уютнее и точно теплее. Он придвинулся еще ближе к столу и склонился над таблеткой. Ветер перестал трепаться за окнами. В комнате стояла глубокая, равномерная тишина. И у Цвета было такое чувство, что он один во всем мире, сидит за своими костяшками в малом, тихом, освещенном пространстве, а жизнь — где-то далеко, в темноте, в прошедшем, в будущем. Громко тикали карманные часы.

Прежде всего он сложил из косточек и выровнял столбцом, как умел, имена этих злых и кровожадных богов. У него получилось ровно семь строк, по одному имени в каждой.

Asloret
Asmodeus
Dagon
Hamman
Lucifer
Moloh
Velial

И если он составлял их немного безграмотно или нескольких квадратиков ему не хватало, то, во всяком случае, все сорок четыре костяшки пошли у него в дело, и уже больше не было сомнения в том, что он правильно стоит на пути своих предшественников.

Потом он сложил по кучкам все одинаковые буквы. Кучек оказалось семнадцать. “Опять верно, — подумал Цвет. — Но в формулу входит только тринадцать. Четыре лишних. И почем знать — не повторяется ли какая-нибудь буква два или три раза в “звезде Соломона”?

В звезде всего двенадцать точек, значит, тринадцатая, и, верно, самая важная, пойдет в середину. Если начать со слова Satan, то не поместить ли S в

центре внутреннего шестиугольника? И правда, у дядюшки сказано несколько страниц назад: “Титул имени могущественного духа совмещает в себе мудрость змеи и блеск солнца”. Конечно — “S”. И Цвет поставил эту букву в центре шестиугольника, а по сторонам расположил другие буквы — a, t, a, n.

Начало вышло довольно удачным, но дальше дело не пошло, а темные указания покойного Аполлона Цвета не приносили никакой пользы. Насилуя свою память, Цвет придумывал самые ужасные фразы и составлял их из костяшек: Voco te, Satanoe! Advoco te, Satan! Veni huc, Satana…[6]

Но он сам чувствовал инстинктом, что заблуждается.

И вдруг у него мелькнула в голове одна мысль, до того простая и даже пошлая, что она, наверно, никак не могла прийти в голову прежним, углубленным в высокую и тайную науку мудрецам. Пересмотреть квадратики на свет!

Через минуту его догадка дала блестящий результат. Он мог бы надменно торжествовать над бесплодными столетними поисками предков, если бы по натуре не был так скромен. Из всех

---

6 notes: 6

Зову тебя, сатана! Призываю тебя, сатана! Приди сюда, сатана… *(лат.)*

сорока четырех квадратиков, которые он поочередно подносил к свече, тринадцать *совершенно не пропускали света.* Это были следующие буквы: a, a, e, f, g, i, m, n, o, o, r, s, t. И в них также входили буквы, составляющие страшное, мудрое и блестящее имя Satan. Оставалось только решить участь остальных восьми букв: e, g, i, m, o, o, r, f. И поэтому, спрятав лишние косточки в карман, Цвет терпеливо и внимательно принялся передвигать маленькие квадратики по тем пунктам, где пересекались линии красивой шестиугольной фигуры со змеевидным S в центре. Делал он это левой рукой, а правой рассеянно постукивал по таинственному легкому шару черной палочкой, которую машинально взял со стола.

Теперь он воочию убедился в бесконечном разнообразии расположения букв, слогов и слов. Он пробовал читать по линиям “звезды Соломона” справа и слева, сверху и снизу, по часовой стрелке и обратно. У него получились необыкновенные фантастические слова вроде: афит, оних, гано, офт, офир, мего, аргме, обхари, тасеф, нилоно и так далее. Но они ничего не значили ни на каком из языков. Тогда, продолжая постукивать палочкой по шару, Цвет стал пробовать выговорить все тринадцать букв в любом возможном для

произношения порядке. “Танорифогемас, Морфогенатаси, Расатогоминфе…” Голова его отяжелела. Уныние и усталость все сильнее овладевали им. И вдруг… точно вдохновение подхватило Цвета, и его волнистые волосы выпрямились и холодным ежом встали на голове.

— Афро-Аместигон! — воскликнул он громко и ударил палочкой по шару. Жалкий тонкий писк раздался на столе. Цвет поднял глаза и сразу выпрямился от изумления и ужаса. Странный шар раздался до величины арбуза. Внутри его ходили, свиваясь, какие-то дымные, сизые, густые клубы, похожие на тучи во время грозы, и зловещим кровавым заревом освещал их изнутри невидимый огонь. А на шаре стояла на задних лапах огромная черная крыса. Глаза ее светились голубым фосфорическим блеском. Из раскрытой красной пасти выходил жалобный визг. И вся крысиная морда была поразительно похожа на чье-то очень знакомое лицо. *“Мефодий Исаевич Тоффель!* — мелькнуло быстро в памяти Цвета. — Меф-ис-тофель!”

Он замахнулся палкой и крикнул на весь дом:

— Кш! проклятый! Брысь! Афро-Аместигон!

Он сам не знал, почему у него назвалось это фантастическое имя. Но крыса тотчас же исчезла,

точно растаяла. Вместо нее из темноты выдвинулась огромной величины козлиная голова, с дрожащей бородой, с выпученными фосфорическими глазищами, с шевелящимися губами, мерзко и страшно похожими на человеческое лицо. Отвратительно и остро запахло в комнате козлиным потом.

— Мэ-э-э!.. — угрожающе заблеял козел и наклонил рога.

— Ах, так? — крикнул в исступлении Цвет. — Афро-Аместигон!

Из всей силы он пустил тяжелой палкой в козлиную морду. Но не попал. Удар пришелся по огненному шару. Раздался страшный грохот, точно взорвался пороховой погреб. Ослепительное пламя рванулось к потолку. Серный удушливый ураган дохнул на Цвета.

И он потерял сознание.

V

Должно быть, от усталости и перенесенных волнений с ним приключился длительный обморок, перешедший потом, сам собою, в глубокий каменный сон. Проснулся он потому, что узенький солнечный луч, пробившийся длинной золотой спицей сквозь круглую молеедину в темно-вишневой занавеси окна, долго скользил по шее, по губам и по носу Цвета, пока, наконец, не уперся ему в глаз и защекотал своим жгучим прикосновением.

Цвет зажмурился, чихнул, открыл глаза и сразу почувствовал себя таким бодрым, свежим, легким и ловким, как будто бы все его тело потеряло вес, как будто кто-то внезапно снял с его груди и спины долго стеснявшую тяжесть, как будто ему вдруг стало девять лет, когда люди более склонны летать, чем передвигаться по земле.

Он вовсе не удивился тому, что проснулся одетым и лежащим не в лаборатории, а в смежной спальной комнате, на широком замшевом диване, и что под головой у него была старинная атласная, вышитая шелковыми цветами подушка, неизвестно откуда взявшаяся. Но все,

что произошло с ним вчера в кабинете полусумасшедшего алхимика, совершенно исчезло, выпало из его памяти, точно кто-то стер губкой все события этой странной и страшной ночи. Он помнил только, как пришел вечером в дом, остался один и пробовал от нечего делать читать какую-то древнюю рукописную старческую дребедень. Но устал смертельно и сам не знает, как дотащился до дивана.

Он быстро вскочил, подбежал к окну, отодвинул тяжелую занавеску, скользнувшую костяными кольцами по деревянному шесту, и распахнул форточку. С наслаждением почувствовал, что никогда еще его движения не были так радостно легки и так приятно послушны воле. Зелень, лазурь и золото прохладного весеннего утра радостно вторгнулись в душный, много лет непроветренный покой.

“Ах, хорошо жить! — подумал Цвет, глубоко, с трепетом вдыхая воздух. — Только вот стаканчик бы чаю… А как его достанешь?”

Тотчас же сзади него скрипнула дверь. Он обернулся. В комнату входил вчерашний ветхий церковный сторож, с трудом неся перед собой маленький, пузатый, ярко начищенный самовар.

— Добрый день, паныч, — прошамкал он в свою

зеленую бороду. — А вы так хороший кусок сна хватили. Дверь оставили незачинивши. То-то молодость. Я вот чайку вам скипятил. Подождите трошки, я зараз принесу.

Через минуту он вернулся с подносом, на котором стояла чайная посуда, лежал белый домашний хлеб, нарезанный щедро, толстыми кусками; был и мед в блюдечке, и сливки, и старый, съеженный временем лимон.

— Самовар я у батюшки попа занял, — деловито объяснял сторож. — А цитрону достал у лавочника. Я знаю, что паны любят чай с цитроной пить. Я ведь и вашему дядьке прислуживал. Вчера запомнил вам сказать. Дурная голова стала. Что давношнее, еще за Севастополь, хорошо помню, а что поближе — вовсе растерял. Кушайте на здоровьечко.

— Садитесь и вы, дедушка, — предложил Цвет. — Давайте стакан, я вам налью.

— Покорнейше благодарю, ваше благородие. Не откажусь. Если водочку изволите по утрам употреблять, это я тоже могу сбегануть. Близко. Не надо? Ну, как ваше желание.

Старик сосал беззубым ртом сахар, тянул чай с блюдечка и понемногу разговорился. Сбивался часто на николаевскую железную службу и на

военные походы, но кое-что с трудом вспомнил и об Аполлоне Николаевиче. Покойный Цвет, по его словам, был пан добрый, никого не обижал, не был ни сутягой, ни гордецом, но жил большим нелюдимом. Хозяйство у него вела старая и презлющая одноокая женщина, он ее привез с собою из Питера в Червоное. А за дворней и за лошадью ходил солдат — большой грубиян и пьяница. Никого из соседей у себя Цвет не принимал, но и сам ни к кому не ездил. А что он как будто бы занимался по черным книгам — все это бабьи сплетни. В церкву, правда, не ходил, ну, да это, как сказать, — каждый может свою веру справлять сам по себе. Вот у нас есть на Червоном и в Зябловке такие, что тоже в церкву не ходят, а просто у себя по воскресеньям собираются в хате и читают в книгу. А живут ничего себе, хорошо… Не пьют, не курят, в карты не играют… Чисто вокруг себя ходят… Брешут, что будто бы насчет баб у них непорядок…

Сначала Цвет с беззаботным, светлым равнодушием слушал болтовню старика. Но понемногу до его обоняния стал достигать и тревожить отдаленный, а потом все более заметный запах гари. Запах этот сделался наконец так силен, что даже сторож его услышал.

— А уж не горит ли что у нас, часом? — спросил он, бережно ставя блюдце на стол.

— И то горит, — согласился Цвет. — Пойду посмотрю.

Он вышел в кабинет, сопровождаемый старцем. На большом столе дымно и ярко пылала развернутая книга в красном сафьяновом переплете. Цвет быстро сообразил, что он вчера, должно быть, забыл потушить свечу и она, догорев, упала фитилем на страницу и передала огонь.

— А ну кидайте ее в печку, ваше благородие, — посоветовал храбрый старик. — Давайте я.

Цвет протянул было руку, чтобы помешать сторожу.

— Оставьте. Можно потушить.

Но книга уже полетела в черный разверстый рот горна и запылала в нем весело и бурливо.

— От так! — крякнул с удовольствием сторож. — Туда ее, к чертовой матери.

— А и правда, — спокойно согласился Цвет и повернулся спиной к камину. И совсем в этот момент он не вспомнил тех часов, которые провел в минувшую ночь, склонившись над красной книгой. Но почему-то ему внезапно сделалось скучно…

С помощью сторожа он открыл кое-где в за-

ле и гостиной забухшие, прогнившие ставни, и огромные комнаты при дневном свете показались во всем своем пустом, неприглядном и запущенном виде, говорившем о грязной, тоскливой, разлагающейся старости. Всюду по углам темными, колеблющимися занавесками висела паутина, закоптелые, потрескавшиеся потолки были черны, мебель, изъеденная временем и крысами, кособокая и покоробленная, разверзала свои внутренности из волос, рогожи и пружин. Деревянные ветхие стены кое-где просвечивали сквозными дырами наружу. Пахло затхлостью, мышами, грибами, плесенью, погребом и смертью…

— Ну и хлам! — сказал Цвет, качая головой.

— И правда, — согласился сторож. — В нем если жить, то надо с опаской. Того гляди, развалится. И чинить нет расчета. Надо новый ставить.

По шатким, искрошившимся ступеням Цвет спустился в сад. Но там было еще грустнее, еще острее чувствовалось забвение, заброшенность, одичание места. Дорожки густо заросли травою, трухлявые заборы покосились, почернели и позеленели, перебитые стекла маленькой оранжереи отливали грязно-радужными полосами.

Чувство одиночества, усталости и тоски вдруг

так сильно охватило Цвета, что он физически почувствовал его томление в горле и в груди. Для чего он тащился на край света? Кому нужна эта рухлядь? Крошечная комната в городе, на верху шестого этажа, под гробоподобной крышкой представилась ему во всей привлекательности милого привычного уюта. “Ах, хорошо бы поскорее домой, — подумал он. — Ни за что здесь не стану жить”.

В эту минуту по дороге послышался колокольчик. Потом донеслись звуки колес. Какой-то экипаж остановился у ворот.

— Никак, почта из Козинец? — сказал сторож. — У нее такой звонок.

Цвет торопливо вышел на тополевую аллею. Навстречу ему приближался почтальон, высокий, длинный малый, молодой, веселый. Рыжие курчавые волосы буйно торчали у него из-под лихо сбитой набок фуражки. Голубые глаза бойко блестели на веснушчатом лице.

— Господин Цвет? Это вы? Вам телеграмма, — крикнул почтальон на ходу. — С приездом имею честь.

Цвет распечатал и развернул серый квадратный пакет. Телеграмма была от Тоффеля.

“Козинцы нарочным Червоное усадьба по-

мещику Цвету. Выезжайте немедленно нашел покупателя пока сорок тысяч постараюсь больше привет Тоффель".

Цвета самого несколько поразило то странное обстоятельство, что в первое мгновение он как будто не мог сообразить, что это за человек ему телеграфирует, и лишь с некоторым, небольшим усилием вспомнил личность своего ходатая. Но тому, что его мысль о продаже усадьбы так ловко совпала с появлением телеграммы, он совершенно не удивился и даже над этим не задумался.

— Надо, дедушка, мне ехать обратно, — сказал он деловито. — Как бы лошадь достать в селе?

— А вот не угодно ли со мной? — охотно предложил почтальон. — Мне все равно на станцию ехать. Я и телеграмму вашу по пути захватил из Козинец. Кони у нас добрые. Дадите ямщику полтинник на водку — мигом доставит. И как раз к курьерскому.

— Мало погостили, — заметил древний церковный сторож. — А и то сказать, что у нас вам за интерес?.. Человек вы городской, молодой… Покорнейше благодарю, ваше благородие… Тяпну за ваше здоровье… Пожелаю вам от души всяких успехов в делах ваших. Дай вам…

— Ладно, ладно, — весело перебил Цвет. — По-

дождите, я только сбегаю за чемоданом и — езда!

VI

Когда мы глядим на освещенный экран кинематографа и видим, что на нем жизненные события совершаются обыденным, нормальным, разве лишь чуть-чуть усиленным темпом, то это означает, что лента проходит мимо фокуса аппарата со скоростью около двадцати последовательных снимков в секунду. Если демонстратор будет вращать рукоятку несколько быстрее, то соразмерно с этим ускорятся все жесты и движения. При сорока снимках в секунду люди проносятся по комнате, не подымая и не сгибая ног, точно скользя с разбегу на коньках; извозчичья кляча мчится с резвостью первоклассного рысака и кажется стоногой; молодой человек, опоздавший на любовное свидание, мелькает через сцену с мгновенностью метеора. Если, наконец, демонстратору придет в голову блажной каприз еще удвоить скорость ленты, то на экране получится одна сплошная, серая, мутная, дрожащая и куда-то улетающая полоса.

Именно в таком бешеном темпе представилась бы глазам постороннего наблюдателя вся жизнь Цвета после его поездки в Червоное. Сотни, ты-

сячи, миллионы самых пестрых событий вдруг хлынули водопадом в незаметное существование кроткого и безобидного человека, в это тихое прозябание божьей коровки. Рука невидимого оператора вдруг завертела его жизненную ленту с такой лихорадочной скоростью, что не только дни и ночи, обеды и ужины, комнатные и уличные встречи и прочая обыденщина, но даже события самые чрезвычайные, приключения неслыханно фантастические, всякие сказочные, небывалые чудеса — все слилось в один мутный, черт знает куда несущийся вихрь.

Изредка как будто бы рука незримого оператора уставала, и он, не прерывая вращения, передавал рукоятку в другую руку. Тогда сторонний зритель этого живого кинематографа мог бы в продолжение четырех-пяти секунд, разинув от удивления рот и вытаращив глаза, созерцать такие вещи, которые даже и не снились неисчерпаемому воображению прекрасной Шахразады, услаждавшей своими волшебными рассказами бессонные ночи царя Шахриора. И всего замечательнее было в этом житейском, невесть откуда сорвавшемся урагане то, что главный его герой, Иван Степанович Цвет, совсем не удивлялся тому, что с ним происходило. Но временами испытывал

тоскливую покорность судьбе и бессилие перед неизбежным.

Слегка поражало его — хотя лишь на неуловимые, короткие секунды — то обстоятельство, что сквозь яркий, радужный калейдоскоп его бесчисленных приключений очень часто и независимо от его воли мелькала, — точно просвечивающие строчки на обороте почтовой бумаги, точно водяные знаки на кредитном билете, точно отдаленный *подсон* узорчатого сна, — давнишняя знакомая обстановка его мансарды: желтоватенькие обои, симметрически украшенные зелеными венчиками с красными цветочками; японские ширмы, на которых красноногие аисты шагали в тростнике, а плешивый рыбак в синем кимоно сидел на камне с удочкой; окно с тюлевыми занавесками, подхваченными голубыми бантами. Эти предметы быстро показывались в общем сложном, громоздком и капризном движении и мгновенно таяли, исчезали, как дыхание на стекле, оставляя в душе мимолетный след недоумения, тревоги и странного стыда.

Началось все это кинематографическое волшебство на станции Горынище, куда около полудня приехал Цвет, сопровождаемый услужливым почтальоном. Этот случайный попутчик оказался

премилым малым, лет почти одинаковых с Иван Степановичем, но без его стеснительной скромности, — веселым, предприимчивым, здоровым, смешливым, игривым и легкомысленным, как годовалый щенок крупной породы. Должно быть, он простосердечно, без затей, с огромным молодым аппетитом глотал все радости, которые ему дарила неприхотливая жизнь в деревенской глуши: был мастер отхватить коленце с лихим перебором на гитаре, гоголем пройтись соло в пятой фигуре кадрили на вечеринке у попа, начальника почтовой конторы или волостного писаря, весело выпить, закусить и в хоре спеть верным вторым тенорком “Накинув плащ, с гитарой под полою”, сорвать в темноте сеней или играя в горелки быстрый, трепетный поцелуйчик с лукавых, но робких девичьих уст, проиграть полтинник в козла или в двадцать одно пухлыми потемневшими картами и с гордостью носить с левого бока огромную, не вынимающуюся из ножен шашку, а с правого — десятифунтовый револьвер Смита-Вессона, казенного образца, заржавленный и без курка.

Этот молодчина совсем пленил и очаровал скромного Цвета. Поэтому, приехав в Горыныще, они оба с удовольствием выпили водки в

станционном буфете, закусили очень вкусной маринованной сомовиной и почувствовали друг к другу то мгновенное, беспричинное, но крепкое дружественное влечение, которое так понятно и прелестно в молодости.

Два пассажирских поезда почти одновременно подошли с разных сторон к станции. Надо было прощаться. Нежный сердцем Цвет затуманился. Крепко пожимая руку Василия Васильевича, он вдруг почувствовал непреодолимое желание подарить ему что-нибудь на память, но ничего не мог придумать, кроме тикавших у него в кармане старых дешевеньких томпаковых часов с вытертыми и позеленевшими от времени крышками. Однако он сообразил, что и этот дешевый предмет может оказаться кстати: по дороге веселый почтальон уморительно рассказывал о том, как на днях, показывая знакомым девицам замечательный фокус “таинственный факир, или яичница в шляпе”, он вдребезги разбил свои анкерные стальные часы кухонным пестиком.

“Неважная штучка мои часы, — подумал Цвет, — а все-таки память. И брелочек при нем, сердоликовая печатка… можно отдать вырезать начальные буквы имени и фамилии или пронзенное сердце…”

Он сказал ласково:

— Вы прекрасный спутник. Если бы мне не ехать, мы с вами, наверно, подружились бы. Не откажитесь же принять от меня на добрую память вот этот предмет… — И, опуская пальцы в жилетный карман, он добавил, чтобы затушевать незначительность дара легкой шуткой: —…вот этот золотой фамильный хронометр с бриллиантовым брелком…

— Го-го-го! — добродушно захохотал почтальон. — Если не жалко, то что же, я, по совести, не откажусь.

И Цвет сам выпучил глаза от изумления, когда с трудом вытащил на свет Божий огромный, старинный, прекрасный золотой хронометр, работы отличного английского мастера Нортона. Случайно притиснутая материей пружинка сообщилась с боем, и часы мелодично принялись отзванивать двенадцать. К часам был на тонкой золотой цепочке-ленточке прикреплен черный эмалевый перстенек с небольшим бриллиантом, засверкавшим на солнце, как чистейшая капля росы.

— Извините… такая дорогая вещь, — пролепетал смущенный почтальон. — Мне, право, совестно.

Но удивление уже покинуло Цвета. “Вероятно,

по рассеянности захватил дядины. Все равно, пустяки", — подумал он небрежно и сказал с великолепным по своей простоте жестом:

— Возьмите, возьмите, друг мой. Я буду рад, если эта безделушка доставит вам удовольствие.

VII

Пришло время проститься. Рыжему почтальону надо было бежать за своей кожаной сумкой с корреспонденцией. Молодые люди еще раз крепко пожали друг другу руки, поглядели друг другу в глаза и почему-то внезапно поцеловались.

— Чудесный вы человечина, — сказал растроганный Цвет. — От души желаю вам стать как можно скорее почтмейстером, а там и жениться на красивой, богатой и любезной особе.

Почтальон махнул рукой с видом веселого отчаяния.

— Эх, где уж нам, дуракам, чай пить. Первое ваше пожелание если и сбудется, то разве лет через пять. Да и то надо, чтобы слетел или умер кто-нибудь из начальников в округе, ну, а я зла никому не желаю. А второе, — увы мне, чадо мое! — так же для меня невероятно, как сделаться китайским богдыханом. Вам-то я, дорогой господин Цвет, конечно, признаюсь с полным доверием. Есть тут одна… в Стародубе… звать Клавдушкой… Поразила она меня в самое сердце. На Рождестве я танцевал с ней и даже успел объясниться. Но — куда! Отец — лесопромышленник, богатеющий

человек. Одними деньгами дает за Клавдушкой приданого три тысячи, не считая того, что вещами. Что я ей за партия? Однако мое объяснение приняла благосклонно. Сказала: “Потерпите, может быть, и удастся повлиять на папашу. Подождите, сказала, я вас извещу”. Но вот и апрель кончается… Понятное дело, забыла. Девичья память коротка. Эх, завей горе веревочкой. Однако пожелаю счастливого пути… Всего вам наилучшего… Бегу, бегу.

Иван Степанович вошел в вагон. Окно в купе было закрыто. Опуская его, Цвет заметил как раз напротив себя, в открытом окне стоявшего встречного поезда, в трех шагах расстояния, очаровательную женскую фигуру. Темный фон сзади нее мягко и рельефно, как на картине, выделял нарядную весеннюю белую шляпку, с розовыми цветами, светло-серое шелковое пальто, розовое, цветущее, нежное, прелестное лицо и огромный букет свежей, едва распустившейся, только этим утром сорванной сирени, который женщина держала обеими руками.

“Как хороша! — подумал Цвет, не сводя с нее восторженных глаз. — Сколько нежности, чистоты, ума, доброты, изящества. Нигде в целом свете нет подобной ей! Есть много красавиц, но она

— единственная, ни на кого не похожая, неповторяемая. Ах, она улыбается!”

Правда. Она улыбалась, но только чуть-чуть, одними глазами, и в этой тонкой улыбке было и невинное кокетство, и ласка, и радость своему здоровью и весеннему дню, и молодое проказливое веселье. Она погрузила нос, губы и подбородок в гроздья цветов, время от времени, будто мимоходом, соединяла свои темные, живые глаза с восхищенными глазами Ивана Степановича.

Но вот поезд Цвета медленно поплыл вправо. Однако через секунду стало ясно, что это только мираж, столь обычный на железных дорогах: шел поезд красавицы, а его поезд еще не двигался. “Хоть бы один цветок мне!” — мысленно воскликнул Цвет. И тотчас же прекрасная женщина с необыкновенной быстротой и с поразительной ловкостью бросила прямо в открытое окно Цвета букет. Он умудрился поймать его и еще поспел, высунувшись в окно, несколько раз картинно прижать его к губам. Но красавица, рассмеявшись так весело, что ее зубы засверкали в блеске весеннего полудня, наклонила голову в знак прощания и быстро скрылась в окне. А там ее вагон запестрел, помутнел, слился в линии других вагонов и исчез.

Тронулся и вагон Цвета. В ту же секунду загремела отодвигаемая дверь. В купе ворвался все тот же почтальон, Василий Васильевич. Шапка у него слезла совсем на затылок, рыжие кудри горели пожаром, лицо было красно и сияло блаженством. В сильном возбуждении принялся он тискать руки Ивана Степановича.

— Дорогой мой… если бы вы знали… Что? Поезд идет? Э, наплевать на корреспондентов. Попили моего пота… Подождут один день… Провожу вас до первой станции… Такой день никогда не повторится… Если бы вы знали!.. Да нет, вы воистину маг, волшебник, чародей и прорицатель. Вы, точно как в старых сказках, какой-то чудесный добрый колдун…

— Милый Василий Васильевич, пожалуйста, выскажитесь толком. Ничего не понимаю.

— Да как же! Послушайте только! Прощаясь, вы мне говорили: желаю вам сделаться начальником почтового отделения. Так? Помните?

— Помню.

— И дальше. Желаю вам успеха у одной прекрасной барышни, которая, и так далее… Верно?

— Ну да.

— И вот, представьте себе… как по щучьему велению!.. Принимаю мешок, а он уже старый

и трухлявый и вдруг расползся. Целая гора писем вылезла наружу. Я их подбираю. И вдруг вижу сразу два, и оба мне. Поглядите, поглядите только.

Он совал в руки Цвета два конверта. Один — казенный, большой, серый, другой — маленький, фиолетовый, с милыми каракулями. Цвет заметил деликатно:

— Может быть, в этих письмах что-нибудь такое… что мне неудобно знать?..

— Вам? Вам? Вам все позволено! Вы — мой благодетель. Смотрите! Читайте!

Цвет прочитал. Первый пакет — был от округа. В нем разъездной почтальон Василий Васильевич Модестов действительно назначался исполняющим должность начальника почтово-телеграфного отделения в местечко Сабурово, в заместители тяжело заболевшего почтмейстера. А в фиолетовом письме, на зеленой бумаге, с двумя целующимися налепными голубыми голубками на первой странице, в левом верхнем углу, было старательно выведено полудетским, катящимся вниз почерком пять строк без обращения, продиктованных бесхитростной надеждой и наивным ободрением, а кстати, с тридцатью грамматическими ошибками.

— И прекрасно, — сказал ласково Цвет, возвращая письма. — Сердечно рад за вас.

— И я безмерно счастлив! — ликовал почтальон. — Эх, теперь бы на радостях дернуть какого-нибудь кагорцу. Угостил бы я охотно милого друга-приятеля на последнюю пятерку. Господин волшебник, как бы нам соорудить?

— Что же. И я бы не прочь, — отозвался Цвет. И в тот же миг в дверь постучались. Появился в синей куртке с золотыми пуговицами официант с карточкой в руке.

— Завтракать будете?

— Вот что, — уверенно ответил Цвет. — Завтракать мы, конечно, будем. А пока подайте-ка нам… — Он задумался, но всего лишь на секунду. — Подайте нам сюда бутылку шампанского и на закуску икры получше и маринованных грибов.

— Слушаю-с, — ответил почтительно, с едва лишь уловимым оттенком насмешки официант и скрылся.

— Я вам говорил, что вы кудесник, — обрадовался почтальон. — Если вы захотите сейчас музыку, то будет и музыка. Прикажите, пожалуйста. Ведь каждое ваше желание исполняется.

Цвет вдруг побледнел. Сердце его сжалось от какого-то томительного тайного страха. И он

произнес слабым, дрожащим голосом:

— Хорошо. Пусть будет музыка.

Сладкий гитарный ритурнель послышался в коридоре. Два горловых, сиплых, но очень приятных и верных голоса, мужской и женский, запели итальянскую песенку: “O solo mio…”[7]

Модестов выглянул из купе.

— Бродячие музыканты! — доложил он. — Ну, однако, вам и везет. Прямо волшебство.

Цвет не ответил ему. Он вдруг в каком-то озарении, с ужасом вспомнил весь нынешний день, с самого утра. Правду сказал почтальон — всякое его желание исполнялось почти мгновенно. Проснувшись, он захотел чаю — сторож принес чай. Он подумал — и то мимолетно, — что хорошо бы было развязаться с усадьбой, — получилась телеграмма от Тоффеля. Захотел ехать — Василий Васильевич предложил повозку и лошадей. Шутя сказал: “Дарю хронометр” — и вынул из кармана неизвестно чьи, дорогие, старинные золотые часы. Влюбившись мгновенно в красавицу из вагонного окна, захотел получить цветок из ее букета — и получил так мило и неожиданно весь букет, с воздушным поцелуем и обольститель-

---

7 notes: 7

О единственный мой… *(ит.)*

ной улыбкой в придачу. Случайно, из простой любезности, посулил Василию Васильевичу повышение по службе и желанную свадьбу, и судьба уже потворствует его капризу. И сейчас, в вагоне, два пустячных случая подряд… Что-то нехорошее заключено в этой послушной торопливости случая… И главное — самое главное и самое тяжелое — то, что все эти явления так неизбежно, столь легко и так просто зависят от какой-то новой стороны в душе самого Цвета, что в них даже нет ничего удивительного.

Цвет сразу заскучал, омрачнел и как бы ожесточел сердцем. Теплое шампанское с икрой показалось ему противным. А в вагоне-ресторане ему неожиданно надоел рыжий почтальон: показался вдруг чересчур размякшим, болтливым, приторным и фамильярным. В этот момент они ели рыбу. Василий Васильевич, пронзив ножом добрый кусок судачьего филея, уже подносил его к открытому рту, когда Цвет лениво подумал про себя:

“А убрался бы ты куда-нибудь к черту”.

Модестов, быстро лязгнув зубами, закрыл рот, положил нож с рыбой на тарелку, позеленел в лице, покорно встал, сказал: “Извините, я на секунду” — и вышел из вагона. И уже больше

совсем не возвращался. Заснул ли он где-нибудь в служебном отделении или сорвался с поезда — этого Цвет никогда не узнал. Да, по правде сказать, никогда и не заинтересовался этим.

Вернувшись после завтрака к себе в вагон, он еще несколько раз пробовал проверить свою новую, исключительную, таинственную способность повелевать случаем. Однажды ему показалось, что поезд слишком медленно тащится на подъем. “А ну-ка, пошибче!” — приказал Цвет. Вероятно, как раз в этот момент поезд уже преодолел гору, но вышло так, что, будто подчиняясь повелению, он сразу застучал колесами, засуетился и поддал ходу. “И еще! И еще! А ну-ка еще!” — продолжал погонять его Цвет. Вскоре телеграфные столбы замелькали в окне со скоростью сначала трех, потом двух, потом полутора секунд; вагоны, как пьяные, зашатались с бока на бок и, казалось, стремились перескочить с разбега друг через друга, точно в чехарде; задребезжали стекла, завизжали стяжки, загрохотали буфера. В коридоре и в соседних купе послышались тревожные голоса мужчин и крики женщин.

Сам Цвет перепугался. “Нет, уж это слишком, — подумал он. — Так легко и голову сломать. Потише, пожалуйста”.

“Слу-ша-ю-у-у!” — загудел в ответ ему длинно и успокоительно паровоз, и поезд, отдуваясь, как разбежавшийся великан, стал умерять ход.

“Вот так, — похвалил Цвет, — это мне больше нравится”.

Немного времени спустя проводник, пришедший убрать в купе, объяснил причину, по которой поезд показал такую бешеную прыть. У паровоза, перевалившего через подъем, что-то испортилось в воздушном тормозе и одновременно случилось какое-то несчастье не то с сифоном, не то с регулятором. (Цвет не понял хорошенько.) Кондукторы из-за ветра не услышали сигнала “тормозить”. А тут начинался как раз крутой и длинный уклон. Поезд и покатился на всех парах вниз, развивая скорость до предельной, до ста двадцати верст, и был не в силах ее уменьшить до следующего подъема. Только там поездная прислуга спохватилась и затормозила…

“Как все просто”, — подумал Цвет… Но в этой мысли была печальная покорность.

В другой раз поезд проезжал совсем близко мимо строящейся церкви. На куполе ее колокольни, около самого креста, копошился, делая какую-то работу, человек, казавшийся снизу черным, маленьким червяком. “А что, если упадет?”

— мелькнуло в голове у Цвета, и он почувствовал противный холод под ложечкой. И тогда же он ясно увидел, что человек внезапно потерял опору и начинает беспомощно скользить вниз по выгнутому блестящему боку купола, судорожно цепляясь за гладкий металл. Еще момент — и он сорвется.

— Не надо, не надо! — громко закричал Цвет и в ужасе закрыл руками лицо. Но, тотчас же открыв их, вздохнул с радостным облегчением. Рабочий успел за что-то зацепиться, и теперь видно было, как он, лежа на куполе, держался обеими руками за веревку, идущую от основания креста.

Поезд промчался дальше, и церковь скрылась за поворотом. “Неужели я хотел видеть, как он убьется?” — спросил сам себя Цвет. И не мог ответить на этот жуткий вопрос. Нет, конечно, он не желал смерти или увечья этому незнакомому бедняку. Но где-то в самом низу души, на ужасной черной глубине, под слоями одновременных мыслей, чувств и желаний, ясных, полуясных и почти бессознательных, все-таки пронеслась какая-то тень, похожая на гнусное любопытство. И тогда же, впервые, Цвет со стыдом и страхом подумал о том, какое кровавое безумие охватило бы весь мир, если бы все человеческие желания

обладали способностью мгновенно исполняться.

На одной из станций Цвет приказал ветру сдуть панаму с головы важного барина, прогуливавшегося с надменным видом индейского петуха на платформе, и потом с равнодушным вниманием следил, как этот толстяк козлом прыгал вслед за убегающей шляпой, между тем как полы его пиджака развевались и заворачивались вверх, обнаруживая жирный зад и подтяжки.

За обедом какой-то крупный железнодорожный чин с генеральскими погонами, человек желчный и властный, стал безобразно, на весь вагон, орать на прислуживавшего ему лакея за то, что тот подал ему солянку не из осетрины, а из севрюжины. Эта сцена произвела удручающее и тоскливое впечатление на всех. Особенно противно было то, что во время грубого выговора генерал не переставал есть, мешая крик с чавканьем.

“А, чтоб ты заткнулся!” — досадливо подумал Цвет. И мгновенно начальник откинулся на спинку стула с раскрытым ртом, из которого вырывались хриплые стоны. Лицо его посинело, и вылезшие глаза налились кровью. Казалось, он вот-вот задохнется. “Ах, нет, нет, пускай благополучно!” — торопливо велел Цвет. Только

что обиженный лакей быстро, ловко и звучно шлепнул несчастного по шее. Он, как пьющая курица, вытянул шею вверх, глотнул, перевел дух и обернулся вокруг с изумленным, радостным видом. Кровь сразу отхлынула от его лица.

— Иди, и чтобы это в последний раз! — сказал он, еще чуть-чуть давясь, грозно, но великодушно… — А то…

“Опять и опять, — подумал без удивления Цвет. — И так это просто. Очевидно, я попал в какую-то нелепо-длинную серию случаев, которые сходятся с моими желаниями. Я читал где-то, что в Петербурге однажды проходил мимо какой-то стройки дьякон. Упал сверху кирпич и разбил ему голову. На другой день мимо того же дома в тот же час проходил другой дьякон, и опять упал кирпич, и опять на голову. Я читал еще в смеси об одном счастливом игроке в рулетку, который семь раз подряд поставил на “О” и семь раз выиграл. Но, при бесконечности времени и случаев, может выйти и та очередь, что другой игрок выиграет на ноль сто, тысячу раз кряду. Я слыхал про людей, которые попадали в один день дважды на железнодорожные катастрофы и еще один на пароходное крушение. Есть счастливцы, никогда не знающие проигрыша в карты… Они говорят

— полоса. Так и я попал в какую-то полосу”.

У себя в купе, оставшись один, он попробовал сознательно экзаменовать эту полосу. Ему хотелось пить. Он сказал вполголоса: “Пусть сейчас, в апреле месяце, на столике очутится арбуз!”

Но арбуз не появился. Это даже немного обрадовало Цвета.

“Это хорошо, — решил он. — Значит, нет никакого чуда. Все объясняется просто. Попробуем дальше. Вот напротив меня на диване лежит букет сирени. Вверх из него торчит раздвоенная веточка. Пусть она отломится и по воздуху перенесется ко мне”.

Вагон сильно качнуло на повороте. Букет упал на пол. Когда Цвет поднял его, на полу осталась лежать одна ветка, но она была не двойная, а тройная.

“Неудовлетворительно, — насмешливо сказал Цвет. — Три с минусом. Ну, еще один раз. Хочу, во-первых, чтобы сию минуту зажегся свет. А во-вторых, хочу во что бы то ни стало духов “Ландыш”.

В ту же минуту вошел проводник со свечкой на длинном шесте. Он зажег газ в круглом стеклянном фонаре и потом сказал с неловкой, но добродушной улыбкой:

— Вот, барин, не угодно ли вам… Убирал утром вагон и нашел пузырек. Дамы какие-то оставили. Кажется, что вроде духов. Нам без надобности. Может, вам сгодятся?

— Дайте.

Цвет поглядел на зеленую с золотом этикетку хрустального флакона и прочел вслух, читая как по-латыни: «Мугует, Пинауд, Парис». Осторожно вскрыл тонкую перепонку, обтягивавшую стеклянную пробку. Понюхал. Очень ясно и тонко запахло ландышем.

“Вот это случай — так случай, — снисходительно одобрил Цвет судьбу или что другое, неведомое. — Но — баста, довольно, не хочу больше, надоело. Теперь бы какую-нибудь книжку поглупее и спать, спать, спать. Спать без снов и всякой прочей ерунды. К черту колдовство. Еще с ума спятишь”.

— А нет ли у вас, проводник, случайно какой-нибудь книжицы? — спросил он.

Проводник помялся.

— Есть, да вы, пожалуй, читать не станете. Похождения знаменитого мазурика Рокамболя. А то я дам с удовольствием.

— Тогда тащите вашего мазурика и стелите постель.

Он с удовольствием улегся в свежие простыни, но едва только пробежал глазами первые строки двенадцатой главы одиннадцатой части пятнадцатого тома этого замечательного романа, как сон мягко и сладко задурманил ему голову. Последней искрой сознания пронеслось в его памяти темное вагонное окно, и в нем под белой шляпкой розовое нежное лицо, темные, живые глаза и белизна зубов, сверкающих в лукавой и милой улыбке. “Хочу завтра ее видеть”, — шепнул засыпающий Цвет.

VIII

Первое, что он увидел, проснувшись поздно утром, был сидевший против него на диване с газетой в руке Мефодий Исаевич Тоффель.

— Доброго утра, мой достопочтенный клиент, — приветствовал Цвета ходатай. — Как изволили почивать? Я нарочно не хотел вас будить. Уж очень сладко вы спали.

“Где-то я его видел, — подумал Цвет. — И раньше, еще до первого знакомства, и вот теперь, совсем, совсем недавно. И какая неприятная рука при пожатии, жесткая и сухая, точно копыто. И от него пахнет серой. И лицо ужасно нечеловеческое!”

— Как вы попали в поезд, Мефодий Исаевич?

— Да специально выехал за три станции вам навстречу. Соскучился без вас, черт побери! И дел у меня к вам целая куча. Однако идите, умывайтесь скорее. Всего полчаса осталось. Я без вас чайком распоряжусь.

Умываясь, Цвет долго не мог побороть в себе каких-то странных чувств: раздражения, досады и прежнего, знакомого, неясного предчувствия беды. “Что за вязкая предупредительность у этого

загадочного человека, — размышлял он. — Вот сошлись линии наших жизней и не расходятся… Да что это? Неужели я его боюсь? — Цвет поглядел на себя в зеркало и сделал гордое лицо. — Ничуть не бывало. Но буду все-таки с ним любезным. Как-никак, а ему я многим обязан. Поэтому не кисните, мой милый господин Цвет, — обратился он к своему изображению в зеркале. — Мир велик, жизнь прекрасна, умыванье освежает, а вы, если и не патентованный красавец, однако получше черта, вы молоды и здоровы, и никому зла не желаете, и все будущее пред вами. Идите пить чай".

В коридоре, лицом к открытому окну, стояла стройная дама в светло-серой длинной шелковой кофточке и белой шляпе. Она обернулась к Цвету. Он остановился в радостном смущении. Перед ним была вчерашняя дама, бросившая ему в вагон цветы. Он видел, как алый здоровый румянец окрасил ее прекрасное лицо и как ветер подхватил и быстро завертел тонкую прядь волос над ее виском. Несколько секунд оба глядели друг на друга, не находя слов. Первая заговорила дама, и какой у нее был гибкий, теплый, совсем особенный голос, льющийся прямо в сердце!

— Я должна попросить у вас прощения… Вчера я позволила себе… такую необузданную… маль-

чишескую выходку…

“Смелее, Иван Степанович, — приказал себе Цвет. — Забудь всегдашнюю неуклюжесть, будь любезен, находчив, изящен”.

— О, прошу вас, только не извиняйтесь… Виноват во всем я. Я глядел на ваши цветы и думал: если бы мне хоть веточку! А вы были так щедры, что подарили целый букет.

— Представьте, и я думала, что вы этого хотите. У меня вышло как-то невольно…

— Позвольте от души поблагодарить вас… Весна, солнечный день, и первая сирень из ваших рук… Я ваш вечный должник.

— Воображаю, как вы испугались… Наверно, сочли меня за бежавшую из сумасшедшего дома.

— Ничуть. Это был такой милый, красивый и… царственный жест. Я сохраню букет навсегда, как память о мгновенной, но чудной встрече. Кстати, я все-таки не соображаю, каким образом вы попали в этот поезд? Ведь вы уезжали со встречным…

Дама весело рассмеялась.

— Ах, я сделала невероятную глупость. Вообразите, я села в Горынищах совсем не в мой поезд. Как только прозвонил третий звонок, я спрашиваю какого-то старичка, что был рядом: “Скоро ли мы проедем через Курск?” А он говорит: “Вы,

сударыня, собираетесь ехать в противоположную сторону, вот ваш поезд". Тогда я мигом схватила свой сак, выбежала на площадку и на ходу прыг… И села сюда… И вот утром вы… Если бы вы знали, как я сконфузилась, когда вас увидала.

— Но какая неосторожность… выскакивать на ходу. Мало ли что могло случиться?

— Э! Я ловкая… и потом, что суждено, то суждено…

— А знаете ли, — серьезно сказал Цвет, — ведь я вчера вечером, ложась спать, думал, что утром непременно увижу вас. Не странно ли это?

— Этому позвольте не поверить… Во всяком случае, наше мимолетное знакомство, хотя и смешное, но не из обычных…

— А потому, — раздался сбоку голос Тоффеля, — позвольте вас представить друг другу.

По лицу красавицы пробежала едва заметная гримаска неудовольствия.

— Ах, это вы, Мефодий Исаевич… Вот неожиданность.

Тоффель церемонно назвал Цвета.

Потом сказал:

— Mademoiselle Локтева, Варвара Николаевна…

— А это всезнающий и вездесущий monsieur Тоффель, — ответила она и крепко, тепло, по-

мужски пожала руку Цвета.

— Идемте к нам чай пить, — предложил Тоффель, — у нас сейчас уберут.

Варвара Николаевна от чаю отказалась, но зашла в купе. Когда садилась, поглядела на букет и сейчас же встретилась глазами с Цветом. Ласковый и смешливый огонек блеснул в ее внимательном взгляде. И оба они, точно по взаимному безмолвному уговору, ни слова не проговорили о вчерашней оригинальной встрече.

Тоффель стал вязать крепче их знакомство с уверенностью и развязностью много видевшего, ловкого дельца. Он рассказал, что Варвара Николаевна единственная дочь известного мукомола, филантропа и покровителя искусств. Кончила год тому назад гимназию, но на высшие курсы не стремится, хотя это теперь так в моде. Живет по-американски, совершенно самостоятельно, выбирает по вкусу свои знакомства и принимает кого хочет, независимо от круга знакомых отца. Всегда здорова и весела, точно рыбка в воде или птичка на ветке. Отец ею не нахвалится как помощницей. На ногу себе никому наступить не позволит, но ангельская доброта и отзывчивость к человечьему горю. Прекрасная наездница, великолепно стреляет из пистолета, музыкантша,

замечательная энженю-комик[8] на любительских спектаклях и так далее и так далее.

Что касается Цвета, то это блестящий молодой человек, решивший променять узкую бюрократическую карьеру на сельскохозяйственную и земскую деятельность. Ездил в Черниговщину осматривать имения, доставшиеся по завещанию. Обладает выдающимся голосом, tenor di grazia[9]. Немного художник и поэт… Душа общества… Увлекается прикладной математикой, а также оккультными науками. Тоффелю кажется удивительным, как это двое таких интересных молодых людей, живя давно в одном и том же маленьком городе, ни разу не встретились.

Все это походило на какое-то навязчивое сватовство. Цвет кусал губы и ерзал на месте, когда Тоффель, говоря о нем, развязно переплетал истину с выдумкой, и боялся взглянуть на Локтеву. Но она сказала с дружелюбной простотой:

— Я очень рада нашему знакомству, Иван Степанович, и надеюсь вас видеть у себя… У вас есть записная книжка? Запишите: Озерная улица… Не знаете? Это на окраине, в Каменной слободке,

---

8 notes: 8
комическая простушка — театральное амплуа *(от фр. ingenu comique).*

9 notes: 9
лирический тенор *(ит.).*

— дом Локтева, номер пятнадцатый, такая-то, по четвергам, около пяти. Загляните, когда будет время и желание. Мне будет приятно.

Цвет раскланялся. Он все-таки заметил, что Тоффеля она не пригласила, и подумал: “У нее, должно быть, как и у меня, не лежит сердце к этому человеку с пустыми глазами”.

Приехали на вокзал. Тесное пожатие руки, нежный, светлый и добрый взгляд, и вот белая шляпка с розовыми цветами исчезла в толпе.

— Хороша? — спросил, прищуря один глаз, Тоффель. — Вот это так настоящая невеста… И собой красавица, и образованна, и мила, и богата…

— Будет! — оборвал его грубо, совсем неожиданно для себя, Иван Степанович. Тоффель покорно замолчал. Он нес саквояж, и Цвет видел это, но даже не побеспокоился сделать вид, что это его стесняет. Так почему-то это и должно было быть, но почему — Цвет и сам не знал, да и в голову ему не приходило об этом думать. На подъезде он сказал небрежно:

— Надо бы автомобиль.

— Сейчас, — услужливо поддакнул Тоффель. — Мотор! В Европейскую.

Дорогой Тоффель заговорил о делах. Пусть Цвет на него не сердится за то, что он без его разреше-

ния продал усадьбу. Подвернулось такое верное и блестящее дело на бирже, какие попадаются раз в столетие, и было бы стыдно от него отказаться. Тоффель рискнул всей вырученной суммой и в два дня удвоил ее. Впрочем, и риску здесь было один на десять тысяч. Затем он, Тоффель, нашел, что чердачная комната теперь вовсе не к лицу человеку с таким солидным удельным весом, как Цвет. Поэтому он взял на себя смелость перевезти самые необходимые вещи своего дорогого клиента в самую лучшую гостиницу города. Это, конечно, только пока. Завтра же можно присмотреть уютную хорошую квартирку в четыре-пять комнат, изящно обмеблировать ее, купить ковры, цветы, картины, всякие безделушки и создать очаровательное гнездышко. У Тоффеля на этот счет удивительно тонкий вкус и умение покупать дешево “настоящие” вещи. Сегодня они вместе поедут к единственному в городе порядочному портному. Но если уж одеваться совсем хорошо и с большим шиком, то для этого необходимо съездить в Англию. Только в Лондоне надо заказывать мужчинам белье и костюмы, галстуки же и шляпы — в Париже. Но это потом. Теперь надо заключить прочные и веские знакомства в высшем обществе. А там Петербург, Лондон,

Париж, Биарриц, Ницца… Словом, мы завоюем весь мир!..

Он болтал, а Цвет слушал его с небрежным, снисходительно-рассеянным видом, изредка коротко соглашаясь с ним ленивым кивком головы. Так почему-то надо было, и это понималось одинаково и Цветом и Тоффелем.

Но час спустя Тоффель сильно удивил, озадачил и обеспокоил Ивана Степановича. Они кончали тонкий и дорогой завтрак в кабинете гостиничного ресторана. Тоффель велел подать кофе и ликеров и сказал лакею:

— Больше нам ничего не надо, Клементий. Если понадобится, я позвоню.

Когда тот ушел, Тоффель плотнее затворил за ним дверь и даже прикрыл дверные драпри. Потом он вернулся к столу, сел против Цвета коленями на стул, согнулся над столом, почти лег на него и подпер голову ладонями. Взгляд его, тяжело и неподвижно устремленный на Цвета, был необычайно странен. В нем была горячая воля, властное приказание, униженная просьба и скрытая зловещая угроза — все вместе. Несколько секунд никто не произнес ни слова. Тоффель часто дышал, раздувая широкие ноздри горбатого носа. Наконец он вымолвил хриплым и слабым

голосом:

— А слово?.. Вы узнали слово!..

— Не понимаю, — тихо ответил Цвет и невольно подался телом назад под давящей силой, исходившей из глаз Тоффеля. — Какое слово?

Взгляд Тоффеля стал еще пристальнее, цепче и страстнее. Пот выступил у него на висках. От переносья вверх вспухли две расходящиеся жилы. В зрачках загорались густые темно-фиолетовые огни.

“Там… в усадьбе… книга… формулы… Красный переплет… Мефистофель…” — забродило в голове у Цвета. Тоффель же продолжал настойчиво шептать:

— Заклинаю вас, назовите слово… Только слово, и я ваш слуга, ваш раб всю жизнь…

У Цвета похолодело лицо и высохли губы. Что-то, разбуженное волей Тоффеля, бесформенно и мутно колебалось в его памяти, подобно тому неуловимому следу, тому тонкому ощущению только что виденного сна, которые скользят в голове проснувшегося человека и не даются схватить себя, не хотят вылиться в понятные образы.

— Не знаю… не могу… не умею…

Тоффель как-то мягко, бесшумно свернулся со стула, опустился на пол и на четвереньках,

по-собачьи, подполз к Цвету и, схватив его руки, стал покрывать их колючими поцелуями.

— Слово, слово, слово… — лепетал он. — Вспомните, вспомните слово!

Цвет зажмурил на секунду глаза. Потом пристально поглядел на Тоффеля.

— Оставьте, не надо этого, — сказал он резко. — Слышите ли — я не хочу!

Тоффель поднялся и спиною к Цвету, шатаясь, прошел до угла кабинета. Там он постоял неподвижно секунды с две. Когда же он обернулся, лицо его было искажено дьявольской гримасой смеха.

— К черту! — воскликнул он, щелкнув перед собою кругообразно пальцами. — К черту-с. Я пьян, как фортепьян. Забудьте мой бред — и к черту! Прошу извинения. Но еще… только одна, самая пустячная просьба, которую вам ничего не стоит исполнить.

— Хорошо. Говорите, — согласился Цвет.

Тоффель сунул руку в карман и вытащил ее сжатой в кулак

— Что у меня в руке?

Цвет с улыбкой ответил уверенно:

— Маленькая золотая монета.

— Что на ней изображено?

— Подождите… сейчас. Женская голова в профиль, повернута вправо от зрителя… Голая шея… Злое сухое лицо. Тонкие губы, выдающийся подбородок, острый нос. Крупные локоны, в них маленькая корона на самом верху прически…

— Гм… да, — произнес Тоффель угрюмо. — Угадали. Полуимпериал Анны Иоанновны, тысяча семьсот тридцать девятого года. Верно. Хотите, выпьем еще шампанского?

IX

Именно с этого же дня начались блестящие успехи Цвета в большом обществе. Полоса удачи, о которой он думал и которую пытал, едучи в вагоне, развертывалась перед ним, как многоцветный восточный ковер, и Цвет попирал ногами его роскошную ткань с привычным равнодушием владыки.

В короткое время Иван Степанович стал пышной сказкой города. Живая бегучая молва увеличила размеры его наследства до сотен тысяч десятин и до десятков миллионов рублей. За ним ходили, разинув рот, любопытные, его показывали приезжим, как восьмое чудо света, о его эксцентричностях, о его щедрости и счастии чуть не ежедневно писали в газетах. Нечего и говорить о том, что вокруг него сразу, сама собой, образовалась шумная свита друзей, знакомых, прихлебателей, попрошаек, болтунов и увеселителей. И Цвет, вовсе не утеряв в душе присущих ему доброты и скромности, очень быстро научился тяжкому искусству владеть людьми. Ему иногда достаточно бывало медленно, вскользь, поглядеть в глаза зазнавшемуся наглецу или

назойливому вымогателю и только слегка подумать: “Не хочу тебя больше видеть!” — как тот мгновенно отодвигался куда-то на задний план, бледнел, линял и навсегда, безвозвратно растворялся, исчезал в пространстве.

Один Тоффель упорно возвращался к нему, хотя Цвет очень нередко мысленным приказом прогонял его. Бывало это в те минуты, когда, внезапно обернувшись, Иван Степанович вдруг ловил на себе взгляд ходатая — жадный, умоляющий, гипнотизирующий. “Слово! Назови слово!” — кричали жалкие и грозные, пустые глаза. Цвет внутренне произносил: “Уйди!” — и Тоффель весь поникал и удалялся, позорно напоминая умную, нервную, старую собаку, которая после окрика приседает на все четыре лапы, горбит спину, прячет хвост под живот и ползет прочь, оглядываясь назад обиженным, виноватым глазом.

Но через день, через час он опять, как ни в чем не бывало, являлся перед Цветом с известием о колоссальной победе на бирже, с портфелем, битком набитым пачками свежих, только что отпечатанных хрустящих ассигнаций, с модным пикантным анекдотом, с предложением шикарного или лестного знакомства, с целым выбором новых развлечений.

Он как будто бы беспрестанно стерег Цвета, подобно няньке, ревнивой жене или усердному сыщику. Если бы он мог, он, кажется, подслушивал бы: не пробредит ли Цвет что-нибудь во сне. Может быть, он даже и в самом деле подслушивал, хотя Цвет, прежде чем лечь в постель, всегда собственноручно запирал на ключ все двери в квартире.

Каждое желание Ивана Степановича исполнялось почти моментально, точно ему в самом деле послушно служили чьи-то невидимые, ловкие руки и неслышные, быстрые ноги. Но чудо здесь отсутствовало. Было только вечное, неперемежающееся и совсем простое совпадение мыслей и событий.

Многие из наиболее фантастических капризов Цвета осуществлялись при помощи самых простых средств. Так, иногда, сидя один в своем роскошном кабинете на стуле, он говорил мысленно: “Хочу вместе со стулом подняться на воздух!” И правда, стул слегка скрипел под ним, точно стараясь отодраться от пола, однако великий закон тяготения оставался ненарушимым. Но однажды утром Цвет загляделся в окно на летающих высоко в небе голубей и позавидовал их легким прекрасным движениям. “Ах, если

бы человеку испытать что-нибудь подобное!” — подумал он искренно и совершенно бесцельно. Когда же он отвернулся от окна, то его первый рассеянный взгляд упал на газету, где на первой странице крупным шрифтом стояло объявление о нынешнем авиационном дне. И в тот же вечер за сумасшедшую плату Цвет взгромоздился сзади пилота на тяжелый неуклюжий “фарман” № 4 и сделал два круга над полем, пережив в продолжение десяти минут одно из самых чистых, упоительных и гордых ощущений, какие только доступны человеку в его грузной земной жизни.

Несколько раз, глядя на стоящий перед ним стакан с водой, он настойчиво шептал: “Пусть вода закипит!” Она оставалась прозрачной и холодной. Но каждый раз, по его желанию, очень скоро переставал дождь, шедший упорно с утра. Когда угодно, он по своему желанию мог услышать музыку или аромат цветов, неизвестно откуда доносившийся. Но однажды среди ночи в парке ему захотелось лунного освещения, и у него ничего не вышло, потому что в эту ночь месяц скрыл свою последнюю узенькую полосу.

Он никогда не мог заставить воспламениться самопроизвольно свечу или спичку. Но в один вечерний час, по его случайной прихоти, в городе

мгновенно погасли все электрические лампы и остановились все трамваи, вследствие, как потом оказалось, какой-то путаницы в проводах.

Что же касается жизненных человеческих событий, то они слепо повиновались Цвету, и только его сердечная доброта и бессознательная скромность удерживали его на грани смешного, позорного и преступного. Впрочем, о его безумных удачах рассказывали с восторгом в городском “свете”.

В один прелестный, сияющий весенний полдень он и Тоффель поехали на скачки. Они попали как раз к розыгрышу главного приза. Всезнающий Тоффель провел Цвета в членскую трибуну и мигом перезнакомил его со всеми спортсменами и владельцами скаковых конюшен…

Когда по звонку лошадей одну за другой — их всех было одиннадцать — выводили на круг, Цвет стоял у самого барьера, рядом с высоким грузным бритым господином в широком пальто, который, с видом внешнего безучастия, курил сигару, но все время нервно ее покусывал. Цвет мельком слышал его фамилию, но не разобрал, как это всегда бывает при быстрых, случайных знакомствах. Этот человек, лениво скосив глаза сверху вниз на Цвета, спросил:

— На кого ставите?

— Сию минуту, — ответил вежливо Цвет, — я только соображу.

Сзади, в публике, называли лошадей по именам и взвешивали их шансы. Судьба первого и второго приза ни в ком не возбуждала сомнения. Первым должен был прийти сухой, с птичьим лицом англичанин в черном камзоле с белыми рукавами, вторым — негр, весь в красном, скаливший белые зубы и сверкавший огромными белками на зрителей. На них двоих и велась вся игра в тотализаторе. На третье место ждали еще двух лошадей, но ими мало интересовались.

Дойдя шагом до известной черты, жокеи повернули лошадей и поочередно, в порядке афишных номеров, сдержанным галопом проскакали перед публикой, показывая ей своих нервных, худых, высоких, породистых лошадей во всей красоте их форм и легкости движений. Сами жокеи сидели, слегка согнувшись, небрежно и красиво в седлах, на коротких стременах, с остро согнутыми в коленах ногами. На их бритых остроносых лицах, иссушенных работой, темных от загара, резко обрисовывались под морщинистой кожей все выпуклости и впадины черепов.

После всех других лошадей прошла со значи-

тельным промежутком и в большом беспорядке прелестная по формам, не особенно высокая, золотисто-рыжая кобыла под жокеем в голубом камзоле с белыми звездами. Она горячилась и не хотела слушаться всадника. Уши ее нервно двигались, обращаясь то к жокею, то вперед, шерсть уже теперь лоснилась потом, с удил падала пена, и в больших выпуклых, черных, без белка, глазах острыми огоньками блестел солнечный свет. С галопа она срывалась на рысь, танцевала на месте, прыгала боком и старалась резкими движениями красивой сухой головы вырвать поводья.

— А вот на эту… рыженькую, — сказал наивно Цвет. — Она придет первой.

Сзади засмеялись. Кто-то заметил насмешливо, но вполголоса:

— Верно, как в государственном банке.

Сосед Ивана Степановича поднял кверху темные, черные брови, отставил от себя двумя пальцами на далекое расстояние сигару, слегка свистнул и протянул чрезвычайно густым хриплым басом:

— На Сатанеллу? Замеча-а-а… Смею вас уверить, что она придет никакой. Она и не в своей компании, и не в порядке, и не в руках. Кто на ней сидит? Казум-Оглы, татарская лопатка. Еще

в прошлом году был конюшенным мальчиком… Мне все равно, но деньги бросаете на ветер.

Цвет одним пальцем поманил к себе Тоффеля.

— Поставьте на эту… на как ее… на рыженькую… Голубая рубашка со звездами.

— Сатанелла, нумер одиннадцатый.

— Да, да.

— Сколько прикажете?

— Все равно. Ну, там билетов… десять… пятнадцать… распорядитесь, как хотите.

— Слушаю, — поклонился Тоффель и побежал рысцой в кассу.

— Прекра-а-а… — пустил октавой грузный господин и совсем повернул к Цвету свое бритое лицо. У него был большущий горбатый, волосатый и красный нос, толстая нижняя губа отвисла вниз, обнажая крепкие, желтые прокуренные зубы. — Изуми-и-и… Но послушайте же, — переменил он голос на более естественный. — Мне не жаль ваших денег, но я вижу, что вы на скачках новичок.

— В первый раз.

— Вот видите… Ну, я понимаю игру на Фуко, на слепое сумасшедшее счастье… Но надо, чтобы был хоть один шанс на миллион… А здесь аб-со-лютный нуль!.. На Сатанеллу так же неле-

по ставить, как, например, на лошадь, которая совсем в этой скачке не участвует, которой даже нет во всей сегодняшней программе, которой и вообще не существует на белом свете… понимаете, которая еще не родилась.

— Однако она — вот она! — весело возразил Цвет. — И придет первым нумером.

— Удиви-и-и… — прохрипел сосед. — Нас с вами познакомили? Не так ли? Билеты вы уже взяли? Так? Я вас не только не втравлял в это гнусное предприятие, но даже удерживал? Верно? Ну, так позвольте вам сказать, что я имею несчастье быть владельцем этой самой водовозки. Поглядите-ка, нет, вы поглядите в программу. Видите: нумер одиннадцатый — Сатанелла… владелец Осип Федорович Валдалаев. Это мы, — ткнул он себя в грудь большим пальцем, пухлым и волосатым. — И мы вам говорим, что она без места.

— Первой.

— Не пос-ти-гаю, — пожал плечами владелец. — Ну хотите, — я ставлю сейчас тысячу рублей против ваших ста, что она не займет ни одного платного места, то есть не будет ни первой, ни второй, ни третьей?

Цвет упрямо тряхнул головой.

— Не желаю. Тысячу против тысячи, что она

возьмет первый приз. Я не нуждаюсь в снисхождении.

— Но и я не хочу выигрывать наверняка, — холодно возразил сосед. — А за то, что она не придет первой, я готов сию минуту поставить сто тысяч против полтинника.

Алая краска обиды бросилась в нежное лицо Цвета.

— А я, — сказал он резко, — ставлю не фантастических сто тысяч, а реальных, живых пять против вашей одной. Ваша Сатанелла придет первой.

В это время лошади под жокеями живописной, волнующейся, пестрой группой вернулись назад, на прежнюю черту, откуда начали пробный галоп. Там они несколько минут крутились на месте, объезжая одна вокруг другой, стараясь выровняться в подобие линии и все разравниваясь. Уловив какой-то быстрый, подходящий миг, жокеи как один привстали на стременах, скорчились над лошадиными шеями и рванулись вперед. Но к старту лошади подскакивали так разбросанно, что их не пустили, и некоторым из них, наиболее горячим, пришлось возвращаться назад с очень далекого расстояния. Сатанелла же проскакала понапрасну около четверти версты и пришла обратно вся мокрая.

— Не будем сердиться, — добродушно сказал Валдалаев. — Посмотрите сами, в каком виде кобыла. Никуда!.. Но в ее жилах текут капли крови Лафлеша и Гальтимора, и ее цена, если продавать, три тысячи. В эту сумму я и заключаю пари против ваших трех в том, что она не будет ни первой, ни второй.

— Первой, — уперся Цвет.

— Хорошо, — пожал плечами Валдалаев. — Но поставим также и промежуточное условие, которое нас примирит. Если она придет третьей или никакой, то выиграл я. Если первой, то вы. Ну, а если второй, то — ни вы и ни я, и тогда мы поставим пополам три тысячи в пользу Красного Креста. Идет?

Цвет ясно улыбнулся ему.

— Хорошо.

— И великоле-е-е…

Раз пять не удавалось пустить лошадей кучно. Всех путала горячившаяся, дыбившаяся Сатанелла, которая то пятилась задом, то наваливалась боком на соседок. Из двухрублевых трибун слышались уже негодующие голоса: “Долой Сатанеллу, снять ее! Кобыла совсем выдохлась!” Но в шестой раз лошади пошил сравнительно кучно, сжались перед стартом, и точно замялись секунду

у столба, и вдруг пустились вперед с такой быстротой, что ветром обдало близстоящих зрителей. Белый, высоко поднятый в руке стартера флажок быстро опустился к земле.

Подошел Тоффель с билетами.

— Такая была теснота у касс, что я едва добрался. Поздравляю вас, Иван Степанович, — за нумер одиннадцатый ни в одной кассе ни одного билета. Чисто!

Эта скачка была по своей неожиданности и нелепости единственной, какую только видели за всю свою жизнь поседелые на ипподроме знатоки и любители скакового спорта. Одного из двух общих фаворитов, негра Сципиона, лошадь сбросила на первом же повороте и при этом ударила ногой в голову. Несчастного полуживым унесли на носилках. Вслед за тем упал вместе с лошадью какой-то жокей в малиновом камзоле с зеленой лентой через плечо. Он отделался благополучно и, ловко вскочив, успел поймать повод. Но лошадь с полминуты не давала ему сесть в седло, и он потерял, по крайней мере, сажен с двести. У третьего всадника лопнула подпруга… Двое столкнулись друг с другом так жестоко, что не могли продолжать скачку. У одного оказалась вывихнутой рука, а у другого сломалось ребро.

Словом, почти всех лошадей и жокеев постигали какие-то роковые и злые случайности.

К концу второй минуты, после последнего поворота, когда зрители глазами, головами и телами судорожно тянулись налево, им представилась следующая картина. Впереди, по прямой, уверенно и спокойно скакал черный с белыми рукавами англичанин. Он шел без хлыста, изредка оборачиваясь назад, собираясь перевести лошадь на кентер. За ним, отставшая корпусов на сорок, с поразительной резвостью выскочила из-за поворота, точно расстилаясь по земле, Сатанелла. Казум-Оглы почти лежал у нее на вытянутой шее. Он работал левой рукой кругообразно поводами, а правой часто хлестал лошадь стеком. Еще дальше дико несся вороной жеребец с пустым седлом, ошалевший от стремян, которые били ему по бокам, и очень далеко за ним скакал малиновый с зеленой лентой жокей… Остальные лошади остались на той стороне круга.

Цвет никогда не был игроком и не чувствовал боязни проиграть: деньги давно уже стали для него чем-то вроде мусора. Но в это мгновение его, как внезапный приступ лихорадки, подхватил страшный азарт за Сатанеллу. Крепко стиснув зубы и сморщив все лицо, он крикнул мысленно:

“Ты, ты должна быть первой!..”

Случилось что-то странное. С волшебной быстротой Сатанелла стала приближаться к англичанину. Через каких-нибудь пять секунд она вихрем промелькнула мимо него. Сейчас же, следом за ней, его обогнал и вороной жеребец. Лошадь англичанина совсем остановилась. Он быстро соскочил с нее и, нагнувшись, стал рассматривать ее переднюю ногу… Она была сломана ниже колена. Продрав кожу, наружу торчала белая окровавленная кость. Никто не аплодировал Сатанелле. В рублевых трибунах слышались свистки и гневные крики.

— Поздравляю, — льстиво сказал на ухо Цвету Тоффель…

— Ну вас к черту! — резко швырнул ему Иван Степанович.

Толстый, громадный Валдалаев уперся глазами Цвету в сапоги, а потом медленно поднял на него яростный и презрительный взгляд и прохрипел, доставая бумажник:

— Ваша удача от дьявола. Не завидую вам. Получите.

— Да мне, собственно… не надо… — залепетал Цвет. — Я ведь это просто… так… зачем мне?..

— Что-с? — рявкнул гигант, и сразу его большое

лицо наполнилось темной кровью. — Н-не на-до? Эття чтэ тэ-кое? А за уши? Я Вал-да-лаев! — громом пронеслось по судейской беседке.

И, сунув деньги в дрожащую руку Цвета, который в эту секунду совсем забыл о своем страшном могуществе, владелец золото-рыжей Сатанеллы повернулся к нему трехэтажным, свисавшим, как курдюк, красным затылком и величественно удалился от него.

Мимо Цвета провели искалечившуюся лошадь. Под ее грудью было продето широкое полотнище, которое с обеих сторон поддерживали на плечах конюхи. Она жалко ковыляла на трех здоровых ногах, неся сломанную ножку поднятой и безжизненно болтавшейся. Из глаз ее капали крупные слезы. Ручейки пота струились по коже.

— Э, черт! — тоскливо выругался Цвет. — Если бы знал, ни за что бы не поехал на эти подлые скачки. Как это так случилось? — спросил он кого-то, стоявшего у барьера.

— Уму непостижимо. Камушек какой-нибудь подвернулся или подкова расхлябла… Да, впрочем, и жокеи тоже… известные мазурики.

Примчался Тоффель. Он сиял и еще издали победоносно размахивал в воздухе толстой пачкой сторублевых.

— Наша взяла! — торжествовал он, подбегая к Цвету. — Понимаете: ни в ординарном, ни в двойном, ни в тройном, кроме ваших, ни одного-единого билета! Извольте: три тысячи пятьсот с мелочью. Это вам не жук начихал.

Цвет молчал. Тоффель поймал направление его взгляда.

— Сто? Лосадку залко? — спросил он, скривив насмешливо и плаксиво губы и шепелявя по-детски. — Э, бросьте, милейший мой. Судьба не знает жалости. Едемте-ка в Монплезир спрыснуть выигрыш.

— Тоффель! — с ненавистью воскликнул Цвет. Ему хотелось ударить по лицу этого вертлявого человека, показавшегося сейчас бесконечно противным. Но он сдержался и прибавил тихо: — Уйдите прочь.

Но про себя он подумал с горечью и тоской:

“Сколько еще несчастий причиню я всем вокруг себя. Что мне делать с собой? Кто научит меня?” Но о Боге набожный Цвет почему-то в эту минуту не вспомнил.

Когда он шел к выходу, то даже с опущенными глазами чувствовал, что все глаза устремлены на него. Вверху, в ложе, кто-то захлопал в ладоши. “А вдруг это она, Варвара Николаевна”, — подумал

почему-то Цвет. Но ему так стыдно было за свой позорный выигрыш, что он не осмелился поднять голову. А сердце забилось, забилось.

X

Все, что я здесь пишу, я пишу по устному, не особенно связному рассказу Цвета. Но я давно уже как будто слышу голос читателя, нетерпеливо спрашивающий: да что же это — явь или сон? И если сон, то когда он кончится?

Очень скоро. Мы идем быстрыми шагами к концу, и я постараюсь излагать дальнейшие события в самом укороченном темпе. За то, что все, приключившееся с нашим героем, произошло на самом деле, я не стану ручаться, хотя напоследок все-таки приберегаю один-два факта, которые как будто свидетельствуют, что не все в похождениях Цвета оказалось сном или праздным вымыслом. А впрочем, кто скажет нам, где граница между сном или бодрствованием? Да и намного ли разнится жизнь с открытыми глазами от жизни с закрытыми? Разве человек, одновременно слепой, глухой и немой и лишенный рук и ног, не живет? Разве во сне мы не смеемся, не любим, не испытываем радостей и ужасов, иногда гораздо более сильных, чем в рассеянной действительности? И что такое, если поглядим глубоко, вся жизнь человека и человечества, как не краткий,

узорчатый и, вероятно, напрасный сон? Ибо — рождение наше случайно, зыбко наше бытие, и лишь вечный сон непреложен.

Цвет наделал целый ряд глупостей. Вечером после скачек, еще томясь стыдом и жалостью от своего выигрыша, он вдруг вспомнил грубый окрик Валдалаева, разозлился задним числом и, по совету возликовавшего Тоффеля, послал хриплому великану вызов на дуэль. Секунданты, драгунский безусый корнет и молодой польский поддельный графчик, привезли согласие Валдалаева и передали даже его подлинные слова. Он сказал сердито: “Я продырявлю этого Цвета так, что от него останется только запах”.

— И он это может, — прибавил от себя, важно нахмурившись, корнет. — Он бывший ахтырец и знаменитый бретер.

— Тен-то може! — уверенно подтвердил граф.

А вспыхнувший от нового оскорбления Цвет подумал:

“Ну, в таком случае я его убью”.

На другой день утром они стрелялись за Караваевскими дачами, в рощице, на лужайке. Валдалаев выстрелил первый и промахнулся; пуля лишь слегка задела рукав рубашки Ивана Степановича. Цвет, впервые державший писто-

лет в руке, стал целиться. Гигант стоял перед ним в половину оборота, в двадцати шагах, нелепо огромный, красноносый, спокойный, с опущенными и растопыренными руками, со слегка наклоненной головой. Правое его ухо, пронизанное солнечным лучом, алело ярким пятном под круглой касторовой шляпой.

Остатки гнева, поутихшего за ночь, совсем испарились из души Цвета… “Я прострелю ему ухо”, — решил Цвет и слегка надавил на собачку. Но ему стало нестерпимо жалко противника. “Нет, лучше попаду в шляпу”. И сжал указательный палец.

Резко хлопнул выстрел, и зазвенело в ушах Цвета, и пахнуло весело пороховым дымом. Котелок свалился с Валдалаева. Валдадаев поднял его, внимательно оглядел и прохрипел спокойно октавой:

— Превосхо-о-о-о…

И, подойдя с протянутой рукой к Цвету, сказал самым пленительным, душевным тоном:

— Извиняюсь перед вами… Я не то о вас подумал… Я думал, что вы… так себе… шляпа… А вы, оказывается, славный и смелый парень. Но, черт побери, сатанинская у вас удача! Исключи-и-и…

Вблизи от места поединка уютно засел в зелени

загородный ресторанчик. Туда, по окончании формальностей поединка, направились дуэлянты, четверо свидетелей и доктор, чтобы заказать завтрак, о котором память должна была сохраниться на десятки лет. После соленых закусок Валдалаев и Цвет были на “ты”. За первой дюжиной шампанского Валдалаев уступил Ивану Степановичу кобылу Сатанеллу в цене пяти тысяч рублей. Цвет только повернул слегка глаза на Тоффеля — и перед ним мгновенно очутилась чековая книжка.

— Пишите, Иван Степанович, — сказал Тоффель с мрачным удовольствием. — Пишите.

А к полуночи, когда компания переменила уже четвертое место кутежа, Цвет купил всю конюшню Валдалаева, состоявшую из восьми лошадей.

— Но чтобы, — кричал он стоя, шатаясь и расплескивая бокал, — чтобы не ломать ног лошадям, не бить их хлыстами. И желаю вообще детский сад для лошадей! Чтобы я их мог целовать в самый храп!.. В мордочку! Безнаказанно! Урра!

— Поедем в купеческий клуб, — сказал где-то в пространстве Валдалаев, — там французские шулера. Там я проиграл сотню тысяч.

— Есть. Езда! — ответил с добродушной готовностью Цвет. — Но сперва вымойте меня

сельтерской водой.

Это было сделано. Цвет почувствовал себя сразу трезвым и легким. По дороге Валдалаев, сидя с ним рядом на извозчике и обнимая его, шептал ему тепло в ухо:

— Четыре француза. Господа: Поль, Бильден, Филиппар и Галер. Ты их — рразом... Понимаешь?

— Разом! Понимаю!

— Твоя власть, милый Виноград, от дьявола. Верно?

— Д-да!

— Валяй!

— Я им пок-кажу-у!

— Покажи.

В лучшем городском клубе, где бывал сам губернатор, Цвет обыграл в эту ночь в баккара четырех профессиональных искуснейших шулеров. Он также открыл в рукаве у одного из них, у главного крупье monsieur Филиппара, машинку с готовыми восьмерками и девятками. Затем он обыграл дочиста на несколько сот тысяч всех членов собрания. Но, обыграв, вдруг признался, к громадному наслаждению Тоффеля, который покатывался от смеха:

— Господа. И французов и вас я обыграл навер-

няка. Французов так и следовало. А вы — простые, добродушные бараны. Поэтому потрудитесь взять все проигранные вами деньги обратно. Я обладаю двойным зрением. Я видел насквозь каждую карту. Хотите, я назову вам наперед любую по счету карту в колоде, стоя к вам спиною?

Его проверили. Загадывали двадцать седьмую и девятую и тридцать шестую карту из колоды. Он на секунду прикрывал глаза, открывал их и сразу угадывал: туз пик, девятка бубен, двойка бубен. Все объяснили это явление телепатией и оккультизмом и охотно взяли свои ставки обратно, причем многие перессорились.

Один Валдалаев отказался от денег. Он застегнулся на все пуговицы, перекрестился и сказал своим рычащим голосом:

— Сногсшиба-а-а… Однако я в этой странной хреновине не участник. Эти деньги — к чертовой их матери!..

И величественно ушел, не дотронувшись до кучи золота и бумажек.

А Иван Степанович, глядя ему вслед, на его удаляющуюся широкую спину, вдруг побледнел и стал нервно тереть ладонями виски.

Утром явился к Цвету мистер Тритчель, англичанин-жокей, скакавший накануне на Леди

Винтерсет, на той лошади, что сломала себе ногу, и предложил ему свои услуги. По его словам, валдалаевская конюшня была очень высоких качеств, но падала с каждым годом из-за характера прежнего владельца, который, по своей вспыльчивости, самоуверенности и нетерпимости, постоянно менял жокеев и доверял только посредственным и малознающим тренерам. Цвет согласился. С этого времени его лошади стали забирать все первые призы.

Мало того, однажды, подстрекаемый внезапным и нелепым припадком честолюбия, он вызвался сам, лично, участвовать в джентльменской скачке. Все доводы благоразумия были против этой дикой затеи, начиная с того обстоятельства, что Цвет еще ни разу в своей жизни не садился на лошадь. В пользу Ивана Степановича говорило лишь два слабых данных: его легкий вес — три пуда двадцать пять фунтов — и его непоколебимая решимость скакать.

Мистер Тритчель специально для этой цели приобрел за довольно дорогую цену добронравную, спокойную девятилетнюю кобылу, ростом в шесть с половиной вершков, по имени Mademoiselle Barbe. Он сам дал своему патрону несколько уроков верховой езды на маленьком

конюшенном ипподроме. Цвет, галопирующий в крошечном английском седле на огромной гнедой лошади, напоминал ему фокстерьера, балансирующего на ребре обледенелой крыши. Часто Цвет оборачивался на Тритчеля, услышав с его стороны короткое носовое фырканье. Но каждый раз его глаза встречали сухое, костистое, горбоносое лицо кривоногого англичанина, исполненное серьезности и достоинства.

И вопреки логике и здравому смыслу, Цвет все-таки в джентльменской скачке пришел первым. Нет, вернее, не он пришел, а его принесла сильная и старательная лошадь, а он сидел на ней, вцепившись обеими руками в гриву, растеряв поводья и стремена, потеряв картуз и хлыст. Публика встретила его у столба тысячеголосным ревом, хохотом, свистом, шиканьем и бурными аплодисментами.

Одно время он пристрастился к биржевой игре, и в этой темной, сложной и рискованной области его не только не оставляло, но даже как бы рабски тащилось за ним безумное, постоянное счастье. В самый короткий срок он сделался оракулом местной биржи, чем-то вроде биржевого барометра. Маклеры, банкиры и спекулянты глядели ему в рот, взвешивая и оценивая каждое его слово. Он

же действовал всегда наобум, исключительно под влиянием мгновенного каприза. Он покупал и продавал бумаги, судя по тому, нравились ему сегодня или не нравились их названия, не имея ни малейшего представления о том, какие предприятия эти бумаги обеспечивают. Он никогда не мог постигнуть глубокую сущность биржевых сделок “a la hausse” и “a la baisse”[10]. Но когда он играл на повышение, то тотчас же где-то, на краю света, в неведомых ему степях, начинали бить мощные нефтяные фонтаны и в неслыханных сибирских горах вдруг обнаруживались жирные залежи золота. А если он ставил на понижение, то старинные предприятия сразу терпели громадные убытки от забастовок, от пожаров и наводнений, от колебаний заграничной биржи, от внезапной сильной конкуренции. Если бы его спросили, в чем состоит тайна его удивительного успеха, он только пожал бы плечами и ответил бы совершенно искренно: “Да, право, я и сам не знаю…” Но в том-то и заключалось скрытое несчастие и невидимая боль его жизни, *что он знал и не мог никому сознаться.*

Его широкий образ жизни скоро обратил на се-

---

10 notes: 10

“на повышение”… “на понижение” *(фр.).*

бя внимание, и о Цвете стали негласным образом наводить справки. Но придраться было не к чему: налицо оказывались и полученное наследство, и поразительные выигрыши на бирже. К тому же он чрезвычайно щедро разбрасывал деньги. На благотворительных вечерах, концертах, базарах, общественных подписках и лотереях под его именем значились наиболее крупные пожертвования. Никто охотнее его не давал денег на стипендии, поощрения и койки в лазаретах. Но он сам замечал с глубоким огорчением, что ни разу никому его щедрость не принесла ничего, кроме неудач, разорения, беспутства, болезней и смерти.

Он занимал небольшой старинный облицованный мрамором особняк в нагорной, самой аристократической и тихой части города, утопавшей в липовых аллеях и садах. По преданию, в этом доме когда-то останавливался Наполеон, и до сих пор в одной из комнат сохранилась кровать под огромным балдахином с занавесками серо-малиново-го бархата, затканного золотыми пчелами. Штат его служащих увеличивался с каждым днем. Во главе всех стоял мажордом, величественный седовласый бакенбардист, похожий на русского посла прежних времен в Париже

или Лондоне. За ним следовали: камердинер, с наружностью первого любовника с императорской сцены; круглый, как шар, бритый старший повар, выписанный из Москвы от Оливье; кучер для русской упряжи, поражавший всех до ужаса густотою черной бороды, румянцем щек, обширностью наваченного зада и звериным голосом; кучер для английской упряжи; ученый немец-садовник в очках, заведовавший оранжерею и зимним садом, и еще десятка два мелких прислужников. Весь город любовался Цветом, когда он в погожий полдень проезжал по Московской и Дворянской улицам, правя с высоты английского дог-карта[11] двумя парами прекрасно подобранных и выезженных лошадей, масти “изабелла”, светло-песочного цвета, с начисто вымытыми сребро-белыми гривами и хвостами.

Всезнающий и всемогущий Тоффель приобрел откуда-то для Цвета по особо удачному случаю старинное серебро и древний французский фарфор с клеймами в виде золотых лилий. Он же скупил у разорившегося польского магната богатейший погреб вин, который, по редкости и тонкости сортов, считался четвертым в мире

---

11 notes: 11
двухколесного экипажа *(от англ. dog-cart).*

(как в этом, по крайней мере, уверял прежний владелец). Он же доставал из третьих рук такие ароматные и выдержанные сигары, какими сам архимиллионер Лазарь Израилевич не угощал местного генерал-губернатора — всесильного сатрапа и знаменитого лакомку. Наконец, это Тоффель организовал по вторникам в особняке Цвета интимные ужины и тщательно выбирал и фильтровал приглашенных, стараясь предотвратить вторжение улицы. Только остроумие, изобретательность в веселье, талант, изящество, красота, вкус к жизни и добродушная учтивость служили патентами для входа на эти вечера, и никогда не удавалось проникнуть туда чванному светскому снобизму, ленивому и пресыщенному любопытству, людям глупости и скуки, расчетливым искателям связей и знакомств.

Желанными гостями были артисты и артистки всех профессий, актеры, певцы, танцоры, музыканты, композиторы, художники, скульпторы, декораторы, поэты, клоуны, фокусники, имитаторы и особая порода светских дилетантов, неистощимых на выдумки. Все хорошенькие женщины города показывались с удовольствием и без стеснения на этих вечерах, где, по их словам, всегда бывало так мило и просто. Устра-

ивались великолепные, шутливые китайские шествия с фонарями, драконами и носилками, воскрешались старинные пасторали с гавотами и менуэтами в костюмах XVIII столетия, разыгрывались водевили с пением и целые комические оперы на сюжет, придуманный тут же у Цвета в гостиной, а также ставились сообща нелепо-веселые пародии на модные пьесы и на современные события.

Ужинали на отдельных столиках, по двое и по четверо, кто как хотел. Мужчины служили своим дамам и самим себе. В их распоряжении был буфет, щедро снабженный винами и холодными изысканными закусками.

В городе ходили всякие злостные слухи об этих ужинах, на которые попасть было весьма трудно, но на самом деле, несмотря на безудержное веселье, на полное отсутствие натянутости, они носили приличный, изящный и целомудренный характер. Так Цвет хотел, так и было. И часто его спокойный, быстрый взгляд, направленный через всю столовую, останавливал в самом начале рискованную выходку, слишком громкий смех или резкий жест.

С сотнями людей сталкивала Цвета его многогранная жизнь, но ни с одним человеком он не

сошелся за это время, ни к кому не прикоснулся близко душой. С тою же чудесной способностью “двойного зрения”, с какою Цвет мог видеть рельеф императрицы и год чеканки на золотой монете, зажатой в кулаке Тоффеля, или угадать любую карту из колоды, — так же легко он читал в мыслях каждого человека. Цвету нужно было для этого, пристально и напряженно вглядевшись в него, вообразить внутри самого себя его жесты, движения, голос, сделать втайне свое лицо как бы его лицом, и тотчас же после какого-то мгновенного, почти необъяснимого душевного усилия, похожего на стремление перевоплотиться, — перед Цветом раскрывались все мысли другого человека, все его явные, потаенные и даже скрываемые от себя желания, все чувства и их оттенки. Это состояние бывало похоже на то, как будто бы Цвет проникал сквозь непроницаемый колпак в самую середину чрезвычайно сложного и тонкого механизма и мог наблюдать незаметную извне, запутанную работу всех его частей: пружин, колес, шестерней, валиков и рычагов. Нет, даже иначе: он сам как бы делался на минуту этим механизмом во всех его подробностях и в то же время оставался самим собою, Цветом, холодно наблюдающим мастером.

Такая способность углубляться по внешним признакам, по мельчайшим, едва уловимым изменениям лица в недра чужих душ, пожалуй, не имела в своей основе ничего таинственного. Ею обладают, в большей или меньшей степени, старые судебные следователи, талантливые уголовные сыщики, опытные гадалки, психиатры, художники-портретисты и прозорливые монастырские старцы. Разница была только в том, что у них она является результатом долголетнего и тяжелого житейского опыта, а Цвету она далась чрезвычайно легко.

И сделала его глубоко несчастным. Каждый день перед ним разверзались бездны человеческой душевной грязи, в которой копошились ложь, обман, предательство, продажность, ненависть, зависть, беспредельная жадность и трусость. Почтенные старцы, дедушки с видом патриархов, невинные барышни, цветущие юноши, безупречные многодетные матроны, добродушные толстые остряки, отцы города, политические деятели, филантропы и благотворительницы, передовые писатели, служители искусств и религий — все они в подвалах своих мыслей бывали тысячекратно ворами, насильниками, грабителями, клятвопреступниками,

убийцами, извращенными прелюбодеями. Их полуосознанные, мгновенные, часто непроизвольные желания были похожи на свору кровожадных и похотливых зверей, запертых на замок, ключ от которого находился в неведомой и мудрой руке. И каждый день Цвет чувствовал, как в нем нарастает презрение к человеку и отвращение к человечеству.

О, сколько раз тянулись к нему трепетные и послушные женские руки, а глаза — затуманенные, влажные — искали его глаз, и губы открывались для поцелуя. Но сквозь маску профессионального кокетства, под личиной любовного самообмана Цвет прозревал или открытую жажду его золота, или сокровенное, инстинктивное, воспитанное сотнями поколений, рабское преклонение перед властью богатства. Он одаривал женщин с очаровательной улыбкой и с внутренней брезгливостью, оставаясь сам холодным и недоступным.

Была во всем свете лишь одна — ее имя начиналось с буквы “В”, — одна-единственная, незаменимая, несравненная, прекраснейшая, чье розовое лицо пряталось в букете сирени и чьи темные глаза смеялись, ласкали и притягивали. Но перед ее далеким образом молчало всемогущество желаний. Цвет окружал ее безмолвным

обожанием, тихой самоотверженной любовью, не смеющей ждать ответа. Ему доставляло страшное наслаждение вновь найти в записной книжке ее имя и прочитать его, но ни за что он не отважился бы пойти по тому адресу, который она сама продиктовала.

Чтение чужих мыслей было не единственным несчастьем Цвета. Его очень тяготило также постоянное совпадение его малейших желаний с их мгновенным исполнением. Цвет никому не хотел зла, но невольно причинял его на каждом шагу. Рассказывают об одном великом алхимике, который сообщил своему ученику точный рецепт жизненного эликсира, но предупредил его, чтобы он при его изготовлении никак не смел думать о белом медведе. И вот, каждый раз, как только ученик приступал к таинственным манипуляциям, первой его мыслью всегда бывала мысль о белом медведе. Так и Цвет, сидя, например, однажды в цирке и следя глазами за акробаткой, скользящей по проволоке, не мог не вспомнить о своем несчастном даре и крепко, всеми силами, внушал себе: “Только бы случайно не пожелать, чтобы она упала, только бы, только бы…” Он сжимал при этом кулаки и напрягал мускулы лица и шеи, но в воображении уже рисовалось

падение… и вот с легким птичьим криком гибкая женская фигура в лиловом трико упала вниз, в сетку, сверкая золотыми блестками.

Один случай в этом роде так напугал Цвета, что он чуть не сошел с ума. Он возвращался домой с утреннего концерта пешком. Был хмурый и ветреный день, со странным, зловещим, багрово-медным освещением облаков, которые неслись низко и быстро, точно ватаги растрепанных дьяволов. Каким-то капризным путем мысли Цвета, цепляясь одна за другую, пришли к чуду Иисуса Навина, который продлил день битвы, остановив солнце. Из начатков космографии Цвет, конечно, знал, что иудейскому полководцу для его цели надо было остановить не солнце, а вращение земли вокруг ее оси и что эта остановка повлекла бы за собою, в силу инерции, страшную катастрофу на земной поверхности, а может быть, и во всем мироздании. Цвет был в этот день весьма легкомысленно настроен. Сам того не зная, он на одну миллиардную долю секунды был близок к тому, чтобы сказать старой земле: “Остановись!” Он даже почти сказал это. Но внезапный ураган, ринувшийся на город, подхватил Цвета, протащил его сажени с три и швырнул на телеграфный столб, за который он в смертельном

ужасе обвился руками и ногами. А мимо него понеслись в свирепом вихре пыли, в мрачной полутьме: зонтики, шляпы, газеты, древесные ветки, растерянные люди, обезумевшие лошади. Со зданий падали кирпичи от разрушенных труб, крыши оглушительно гремели своими железными листами, пронзительно выли телеграфные проволоки, хлопали окна и вывески, звенело бьющееся стекло.

Это прошел через город край того ужасающего циклона, который в Москве в 19** году разметал множество деревушек, опрокинул в городе водонапорные башни, повалил груженые вагоны и в одну минуту скосил начисто несколько десятин крепкого строевого леса. Ураган так же быстро, как поднялся, так неожиданно и утих. Цвет целый день тер на лбу громадную шишку и шептал, точно извиняясь перед всей вселенной: “Но ведь это же не я, честное слово, не я. Я не хотел этого, я не сказал этого…”

И еще было одно глубокое, печальное горе у Цвета. От него, так волшебно подчинявшего себе настоящее, уплыло куда-то в безвестную тьму все прошлое. Не то чтобы он его забыл, но он не мог вспомнить. Сравнительно ясно представлялись вчерашние переживания, но позавчерашний

день приходил на память урывками, а дальше сгущался плотный туман. Мелькали в нем бессвязно какие-то бледные образы, звучали знакомые голоса, но они мерещились лишь на секунды, чтобы исчезнуть бесследно, и Цвет не в силах был уловить, остановить их.

Иногда по вечерам, оставаясь один в своем роскошном кабинете, Цвет подолгу сидел, вцепившись пальцами в волосы, и старался припомнить, что с ним было раньше. Клочками проносились перед ним: железная дорога, какой-то запущенный сад, необыкновенная лаборатория, книга в красном сафьяне, рыжий почтальон, взрыв огненного шара, древний церковный старик, козлиная морда, узор текинского ковра, девушка в вагонном окне… Но в этих видениях не было ни связи, ни смысла, ни яркости. Они не зацеплялись за сознание, они только раздражали память и угнетали волю.

От усилия вспомнить у Цвета так разбаливалась голова, как будто кто-то ввинчивал длинный винт через весь его мозг, а душа его ущемлялась такой ноющей тоской, которая была еще больнее головной боли. Измученный Цвет быстро раздевался и приказывал себе: спать! — и тотчас же погружался в безмолвие и покой.

Видел он всегда один и тот же сон: желтенькие обои с зелеными венчиками и розовыми цветочками, японскую или китайскую ширму, с аистами и рыболовом, клетку с канарейкой, кактус на окне и форменную фуражку с бархатным околышем и бирюзовыми кантами. И таким сиянием ранней молодости, прелестью невинных, но утраченных навсегда радостей, такой сладкой грустью были окружены эти незатейливые предметы, что, просыпаясь среди ночи, Цвет удивлялся, отчего у него влажная подушка. Но свой сон никогда он не мог припомнить.

XI

Но всему, даже горю, приходит конец.

Однажды утром, подавая Цвету кофе, великолепный камердинер, с лицом театрального светского льва, сказал:

— Я вчера вечером перебирал ваш гардероб, барин, и в старом сером костюме, в кармане, нашел вот это… ка-кие-то жетоны или игральные марки… не знаю…

Он осторожно поставил на стол круглый маленький поднос, на котором лежали аккуратной горкой штук тридцать квадратных сантиметровых пластинок из слоновой кости. На них были выгравированы и выведены эмалью различные латинские буквы. Цвет взял двумя пальцами одну костяшку и поднес ее к глазам, а поднос слегка отодвинул, сказав небрежно:

— Уберите куда-нибудь.

Слуга ушел.

Цвет рассеянно прихлебывал кофе и время от времени взглядывал на костяной квадратик. Несомненно, он его видел где-то раньше… С ним даже было связано какое-то отдаленное, чрез-

вычайно важное и загадочное воспоминание. Так же змеисто изгибалось когда-то перед ним изящное старинное начертание этого стройного S… Слабый, еле мерцающий огонек проволочного фонаря тогда освещал его… В глубокой полночной тишине только и слышалось что торопливое тиканье часов, лежавших на столе, а гул, подобный морскому прибою, гудел в ушах Цвета… И тогда-то именно случилось… Но головная боль пронизала винтом его голову и затмила мозг. Положив машинально квадратик в карман, Цвет стал одеваться.

Немного времени спустя к нему вошел его личный секретарь, ставленник Тоффеля, низенький и плотный южанин, вертлявый, в черепаховом пенсне, стриженный так низко, что голова его казалась белым шаром, с синими от бритья щеками, губами и подбородком. Он всем распоряжался, всеми понукал, был дерзок, высокомерен и шумлив и, в сущности, ничего не знал, не умел и не делал. Он хлопал Цвета по плечу, по животу и по спине и называл его “дорогой мой” и только на одного Тоффеля глядел всегда такими же жадными, просящими, преданными глазами, какими Тоффель глядел на Цвета. Иван Степанович знал о нем очень немногое, а именно, что этого молодо-

го и глупого наглеца звали Борисом Марковичем, что он вел свое происхождение из Одессы и был по убеждению *сосьяль-демократ*, о чем докладывал на дню по сто раз. Цвет побаивался его и всегда ежился от его фамильярности.

— К вам домогается какой-то тип — Среброструн. Что он за тип, — я не могу понять. И как я его ни уговаривал, он таки не уходит. И непременно хотит, чтобы лично… Ну?

— Просите его, — сказал Цвет и скрипнул зубами. И вдруг от нестерпимого, сразу хлынувшего гнева вся комната стала красной в его глазах. — А вы… — прошептал он с ненавистью, — вы сейчас же, вот как стоите здесь, исчезнете! И навсегда!

Секретарь не двинулся с места, но начал быстро бледнеть, линять, обесцвечиваться, сделался прозрачным, потом от него остался только смутный контур, а через две секунды этот призрак на самом деле исчез в виде легкого пара, поднявшегося кверху и растаявшего в воздухе.

“Первая галлюцинация, — подумал Цвет тоскливо. — Началось. Допрыгался”.

И крикнул громко, отвечая на стук в дверях:

— Да кто там? Войдите же!

Он устало закрыл глаза, а когда открыл их, перед ним стоял невысокий толстый человек,

весь лоснящийся: у него лоснилось полное румяное лицо, лоснились напомаженные кудри и закрученные крендельками усы, сиял начисто выбритый подбородок, блестели шелковые отвороты длинного черного сюртука.

— Неужели не узнаете? Сребструнов. Регент.

Нет. Иван Степанович не узнавал Сребструнова, регента, и в то же время каждый кусочек этого губительного красавца, каждое его движение, каждое колебание его голоса были бесконечно знакомы ему. Парализованная память молчала. Но по усвоенной привычке разговаривать ежедневно со множеством людей, которые его знали, но которых он совершенно не помнил, Цвет уверенно ответил, показывая на кресло:

— Как же, как же… Великолепно помню… регент Сребструнов… еще бы. Прошу садиться. Чем могу?..

Сребструнов был одновременно подавлен строгим комфортом стильного большого кабинета и снисходительной любезностью хозяина. Было ясно, что он хотел напомнить Цвету и по душам разговориться о чем-то далеко прошлом, милом, теплом и простом, и Цвет ждал этого. Но регент так и не решился. Срываясь и торопясь, с бегающими глазами, вертя напряженно

пуговицу на своем рукаве, начал он обычную просительную канитель: простудился, начал глохнуть, голос сдал… все это, конечно, временное и проходящее, но сами знаете, каковы люди… Конкуренция, завистники… Теперь доктора посылают на Кавказ, на целебные воды… Как поедешь?.. Вещи, какие были, заложены… Словом…

Словом, Цвет написал ему чек на две тысячи. Но, прощаясь, он на мгновение задержал руку регента и спросил его робким, тихим, почти умоляющим голосом:

— Подождите… Мне изменила память… Подождите минуточку… Ах, черт… — Он усиленно потер лоб. — Никак не могу… Да где же, наконец, мы встречались?

— Помилуйте! Господин Цвет! Да как же это? Я у Знаменья регентовал. Неужели не помните? Вы же у меня в хоре изволили петь. Первым тенором. Вспоминаете? Чудесный был у вас голосок… Как это вы прелестно соло выводили “Благослови душе моя” иеромонаха Феофана. Нет? Не вспоминаете?

Точно дальняя искорка среди ночной темноты, сверкнул в голове Цвета обрывок картины: клирос, запах ладана, живые огни тонких восковых свечей, ярко освещенные ноты, шорохи и звуки

шевелящейся сзади толпы, тонкое певучее жужжание камертона… Но огонек сверкнул и погас, и опять ничего не стало, кроме мрака, пустоты, головной боли и томной, раздражающей, обморочной тоски в сердце.

Цвет закрыл лицо обеими руками и глухо простонал:

— Извините… Я не могу больше… Уйдите скорее…

Ему страшно и скучно было оставаться одному, и он весь этот день бесцельно мыкался по городу. Завтракал у Массью, обедал в Европейской. В промежутке между завтраком и обедом заехал на репетицию в опереточный театр и, сидя в ложе пустого темного зала, бессмысленно глядел на еле освещенную сцену, где толклись в обыкновенных домашних платьях актеры и актрисы и вяло, деревянными голосами, точно спросонья, что-то бормотали. Купил у Дюрана нитку жемчуга и завез ее Аннунциате Бенедетти, той хорошенькой цирковой артистке, которая однажды, по его, как он думал, вине упала с проволоки. Сидел около часу в читальне клуба с газетой в руке, устремив взор в одно объявление, и все не мог понять, что это такое значит: “Маникюр и педикюр, мадам Пеляжи Хухрик, у себя и на дому”. У него было

такое тяжелое, беспокойное и угнетенное состояние оживления, какое бывает у нервных людей перед грозою или, пожалуй, как у больных, приговоренных на сегодня к серьезной операции: “Хоть бы поскорее!”

Из Европейской гостиницы он вышел довольно поздно, когда уже на город тепло спускались розовые, зеленые, лиловые сумерки. Экипаж он отпустил еще раньше и шел, глубоко задумавшись, засунув руки в карманы, не отвечая на низкие поклоны знакомых, неведомых ему людей. Мысли его все теснились около двух утренних случаев. Несомненно, между ними была какая-то отдаленная, неуловимая связь, и в то же время они взаимно исключали друг друга, как явления противоположных миров. Сияющий и жалкий Сребструнов принадлежал к чему-то прошлому в жизни Цвета, такому понятному, простому и милому, но безвозвратному, недосягаемому, прикасался к чему-то бесконечно близкому, но теперь забытому. А квадратики из слоновой кости с латинскими литерами точно знаменовали переход к теперешнему существованию Цвета — фантастическому и скорбному.

На перекрестке Иван Степанович остановился, бесцельно переворачивая правой рукой в кар-

мане квадратную костяшку.

По Александровской улице сверху бежал трамвай, выбрасывая из-под колес трескучие снопы фиолетовых и зеленых искр. Описав кривую, он уже приближался к углу Бульварной. Какая-то пожилая дама, ведя за руку девочку лет шести, переходила через Александровскую улицу, и Цвет подумал: “Вот сейчас она обернется на трамвай, замнется на секунду и, опоздав, побежит через рельсы. Что за дикая привычка у всех женщин непременно дожидаться последнего момента и в самое неудобное мгновение броситься наперерез лошади или вагону. Как будто они нарочно испытывают судьбу или играют со смертью. И, вероятно, это происходит у них только от трусости”.

Так и вышло. Дама увидела быстро несущийся трамвай и растерянно заметалась то вперед, то назад. В самую последнюю долю секунды ребенок оказался мудрее взрослого своим звериным инстинктом. Девочка выдернула ручонку и отскочила назад. Пожилая дама, вздев руки вверх, обернулась и рванулась к ребенку. В этот момент трамвай налетел на нее и сшиб с ног.

Цвет в полной мере пережил и перечувствовал все, что было в эти секунды с дамой: торопли-

вость, растерянность, беспомощность, ужас. Вместе с ней он — издали, внутренне — суетился, терялся, совался вперед и назад и, наконец, упал между рельс, оглушенный ударом. Был один самый последний, короткий, как зигзаг молнии, необычайный, нестерпимо яркий момент, когда Цвет сразу пробежал вторично всю свою прошлую жизнь, от крупных событий до мельчайших пустяков. Многие, к кому подходила вплотную смерть, — бывало ли это в воде, в огне, под землею или в воздухе, — говорят, что они переживали подобные же ощущения. Цвет увидел, точно в хрустальном волшебном зеркале, свое детство: медные каски пожарных и страшные ночные выезды команды, игру в бабки за конюшнями, ловлю рыбы при помощи завязанных штанишек на речке Кизахе и кулачные бои городских мальчишек с заречными турунтаями на льду Кинешемки, духовное училище и гимназию, и всю службу в Сиротском суде, и певческий хор у Знаменья, и свое мирное житие в мансарде на шестом этаже, и визит Тоффеля, и усадьбу в Червецом, и страшную ночь в кабинете дяди-алхимика, и обратную дорогу, и очаровательную Варвару Николаевну с букетом сирени, с розовым лицом и сладостным голосом, и всю последнюю

жизнь, полную скуки, беспамятства, невольного зла и нелепой роскоши. Все это промелькнуло в одну тысячную долю секунды. Теряя сознание, он закричал диким голосом:

— Афро-Аместигон!

Очнулся он на извозчике, рядом с Тоффелем, который одной рукой обнимал его за спину и другой держал у его носа пузырек с нашатырным спиртом. Внимательным, серьезным и глубоким взглядом всматривался ходатай сбоку в лицо Цвета, и Цвет успел заметить, что у него глаза теперь были не пустые и не светлые, как раньше, а темно-карие, глубокие, и не жестко-холодные, а смягченные, почти ласковые.

Приехав домой, Тоффель провел Ивана Степановича в кабинет, заботливо усадил его в кресло, опустил оконные занавески и зажег электричество. Потом он приказал лакею принести коньяку и, когда тот исполнил приказание, собственноручно запер за ним дверь.

— Выпейте-ка, дорогой мой патрон и клиент, — сказал он, наливая Цвету большую рюмку. — Выпейте, успокойтесь, и поговорим. — Он слегка погладил его по колену. — Ну-с, самое главное свершилось. Вы назвали слово. И, видите, ничего страшного не произошло.

Коньяк согрел и успокоил Цвета. Но в нем уже не было ни вражды к Тоффелю, ни презрения, ни прежнего с ним повелительного обращения. Он самым простым тоном, в котором слышалось кроткое любопытство, спросил:

— Вы — Мефистофель?

— О нет, — мягко улыбнулся Тоффель. — Вас смущает Меф. Ис… — начальные слоги моего имени, отчества и фамилия?.. Нет, мой друг, куда мне до такой знатной особы. Мы — существа маленькие, служилые… так себе… серая команда.

— А мой секретарь?

— Ну, этот-то совсем мальчишка на побегушках. Ах, как вы его утром великолепно испарили. Я любовался. Но и то сказать — нахал! Однако о деле, добрейший Иван Степанович… Ну, что же? Испытали могущество власти?

— Ах, к черту ее!

— Будет? Сыты?

— Свыше головы. Какая гадость!

— Я рад слышать это. Но не было ли у вас… Нет, не теперь, не теперь… Теперь вы во сне… А еще раньше, наяву, когда вы не были сказочным миллионером и кумиром золотой молодежи, а просто служили скромным канцелярским служителем в Сиротском суде… Не было ли у вас какого-нибудь

затаенного, маленького, хоть самого ничтожного желаньишка?

Цвет прояснел и сказал твердо:

— Конечно же, было… Мне так хотелось получить первый чин коллежского регистратора и выйти на улицу в форменной фуражке…

— Исполнено, — сказал Тоффель серьезно.

— Да, но если это опять сопряжено с какими-нибудь чудесами в решете?..

— Без всяких чудес. Так хотите?

— Очень.

— Через минуту это сбудется. Скажите еще раз *слово.*

Цвет сказал с расстановкой:

— Афро-Аместигон.

— Вот и все, — кивнул головой Тоффель. — А теперь послушайте меня. Вы совершенно случайно овладели великой тайной, которой тьма лет, больше тридцати столетий. Ее когда-то извлек из недр невидимого мира духов сам царь Соломон. От него она перешла к финикиянам, к халдеям, потом к индийским мудрецам, потом попала опять в Египет, затем в Испанию, во Францию и, наконец, в Россию. Вместе с этой тайной вы получили ни с чем не сравнимую, поразительно громадную власть. Тысячи незримых существ

служат вам, как преданные рабы, и в том числе я, принявший этот потертый внешний облик и этот глупый боевой псевдоним. И счастье ваше, что вы оказались человеком с такой доброй душой и с таким… не обижайтесь, мой милый… с таким… как бы это сказать вежливее… простоватым умом. Злодей на вашем месте залил бы весь земной шар кровью и осветил бы его заревом пожаров. Умный стремился бы сделать его земным раем, но сам погиб бы жестокой и мучительной смертью. Вы избежали того и другого, и я скажу вам по правде, что вы и без кабалистического слова — носитель несомненной, сверхъестественной удачи.

Но сколькими огромными человеческими соблазнами вы пренебрегли, мой милый Цвет! Вы могли бы объездить весь земной шар и увидеть его во всем его роскошном разнообразии, с его морями, горами, реками, водопадами, от пламенного экватора до таинственной точки полюса. Вы увидели бы древнейшие памятники исторической старины, величайшие создания искусства, живую пеструю жизнь народов. Париж с его вкусом и весельем, себялюбивый и прочный комфорт Англии, бешеная жизнь Нью-Йорка с высоты сорокаэтажных зданий, бой быков в Мадриде, египетские пирамиды, римский карнавал,

красота Константинополя и Венеции, земной рай на островах Полинезии, сказочные панорамы Индии, буддийские храмы и курильни Китая, цветущая и нежная Япония — все пронеслось бы перед вашими очарованными глазами… Вы не захотели этого… а теперь уже поздно…

Вы точно забыли или не хотели знать, что в мире существует множество прекрасных женщин. Не только их красота, за которую лучшие люди отдают радостно свою жизнь, дожидалась мановения вашей руки, но также ум, изящество, талант и тот венец женского очарования, который достигается сотнями лет культуры. Но вы робко и безнадежно мечтали только об одной, не смея…

Цвет нахмурился.

— Оставим это… — сказал он тихо, но настойчиво.

Тоффель опустил глаза и почтительно наклонил голову.

— Слушаю, — произнес он покорно. — Но дальше, дальше… Вы никогда не подумали о власти, о громадном, подавляющем господстве над людской массой, а я мог и его вам доставить… Помните, мы с вами вместе были на трибуне во время проезда государя. Я тогда следил за вами,

и я видел, как остро и напряженно вы впились глазами в его лицо и фигуру. И я знаю, что на несколько секунд вы проникли в его оболочку и были им самим.

— Да, да, — прошептал Цвет. — Вы угадали.

— Я видел ваше лицо и видел, как на нем отражались попеременно выражения величия, приветливости, скуки, смертельной боязни, брезгливости, усталости и, наконец, жалости. Нет, вы не властолюбивы. Но вы и не любопытны. Отчего вы ни разу не захотели, не попытались заглянуть в ту великую книгу, где хранятся сокровенные тайны мироздания. Она открылась бы перед вами. Вы постигли бы бесконечность времени и неизмеримость пространства, ощутили бы четвертое измерение, испытали бы смерть и воскресение, узнали бы страшные, чудесные свойства материи, скрытые от человеческого пытливого ума еще на сотни тысяч лет, — а их великое множество, и в числе их таинственный радий — лишь первый слог азбуки. Вы отвернулись от знания, прошли мимо него, как прошли мимо власти, женщины, богатства, мимо ненасытимой жажды впечатлений. И во всем этом равнодушии — ваше великое счастье, мой милый друг.

— Но у нас, — продолжал Тоффель, — осталось очень мало времени. Склонны ли вы слушаться меня? Если вы еще колеблетесь, то подымите вашу опущенную голову и всмотритесь в меня.

Иван Степанович взглянул и нежно улыбнулся. Перед ним сидел чистенький, благодушный, весь серебряный старичок с приятными, добрыми глазами мягко-табачного цвета.

— Я повинуюсь, — сказал Цвет.

— И хорошо делаете. Начертите сейчас же на бумаге “звезду Соломона”. Нет, не надо ни линейки, ни транспортира, ни старания. Берите на глаз шестьдесят градусов в каждом углу. Время страшно бежит, а срок у нас короткий… Ну вот, хоть так… Теперь проставьте буквы. В середине знак Сатаны. Его озмеяет печать Соломона. Их пересекают скрещенные рога Астарота.

— Не диктуйте, я знаю, я помню, — перебил Цвет и без ошибок, скоро и точно заполнил формулу.

— Верно, — сказал Тоффель. Потом он заговорил веско, тоном приказания и немного торжественно. В его пристальных рыжих глазах, в самых зрачках, зажглись знакомые Цвету фиолетовые огни.

— Теперь слушайте меня. Сейчас вы сожжете эту бумажку, произнеся *то слово*, которое, черт

побери, я не смею выговорить. И тогда вы будете свободны. Вы вынырнете благополучно из водоворота, куда так странно зашвырнула вас жизнь. Но раньше скажите, нет ли у вас, на самом дне душевного сундука, нет ли у вас сожаления о том великолепии, которое вас окружает? Не хотите ли унести с собой в скучную, будничную жизнь что-нибудь веселое, пряное, дорогое?

— Нет.

— Значит, только кокарду?

— Только.

— Тогда позвольте мне принести вам мою сердечную признательность. — Тоффель встал и совсем без иронии, низко, по-старомодному, поклонился Цвету. — Вы весь — прелесть. Своим щедрым отказом вы ставите меня в положение должника, но такого вечного должника, который даже в бесконечности не сможет уплатить вам. Вашим одним словом — “только” — вы освобождаете меня от плена, в котором находился больше тридцати веков. Уверяю вас, что за время нашего непродолжительного, полутораминутного знакомства вы мне чрезвычайно понравились. Добрый вы, смешной и чистый человек. И пусть вас хранит тот, кого никто не называет. Вы готовы? Не боитесь?

— Немного трушу, но… говорите.

Тоффель воспламенил карманную зажигалку и протянул ее Цвету.

— Когда загорится, скажите формулу.

— Однако подождите, — остановил его Цвет. — А это… новое заклинание… Не повлечет ли оно за собой какого-нибудь нового для меня горя? Не превратит ли оно меня в какое-нибудь животное или, может быть, вдруг опять лишит меня дара памяти или слова? Я не боюсь, но хочу знать наверно.

— Нет, — твердо ответил Тоффель. — Клянусь печатью. Ни вреда, ни боли, ни разочарования.

“Звезда Соломона” вспыхнула. “Афро-Аместигон”, — прошептал Цвет. И догорающий клочок бумаги еще не успел догореть, как перед глазами Цвета стало происходить то явление, которое он раньше видел неоднократно в кинематографе, во время сквозной смены картин.

Все в кабинете начало так же обесцвечиваться, бледнеть в водянистом, мелькающем дрожании, утончаться, исчезать — все: портьеры у дверей, ковры, оконные занавески, мебель, обои. И в то же время сквозь них, издали, приближаясь и яснея, выступали венчики — зеленые с розовым, японские ширмы, знакомое окно с тюлевыми за-

навесками, и все с каждым мигом утверждалось в привычной милой простоте. Кто-то стучал равномерно, громко и настойчиво за стеною. Точно работал мотор.

И Цвет увидел себя, но на этот раз уже совсем взаправду, в своей давно знакомой комнате-гробе. В дверь давно уже кто-то стучался.

Цвет босиком отворил дверь.

В комнату вошли его сослуживцы: Бутилович, Сашка Рококо, Жуков и Влас Пустынник. Они были пьяны сумбурным утренним хмелем, и это они все вместе ритмически барабанили в дверь. Они вошли, шатаясь, безобразные, лохматые, опухшие, и запели ужасным хором дурацкие, сочиненные сообща на улице куплеты:

Коллежский регистратор,
Чуть-чуть не император.
Слава, слава.
С кокардою фуражка,
Портфель, а в нем бумажка.
Слава, слава.
Жаловонье получает,
Бумаги пербеляет.
Слава, слава.

Листовку пьет запоем,
Страдает геморроем.
Слава, слава.
И о числе двадцатом
Поет он благим матом.
Слава, слава!..

А Володька Жуков махал, проходясь вприпляску, нумером “Правительственного вестника”, в котором было четко напечатано о том, что канц. служ. Цвет Иван производится в коллежские регистраторы.

Бутилович же сказал голосом, подобным рыканию перепившегося и осипшего от рева тигра:

— Ergo[12] с тебя литки. Выпивон и закусон. А за нами следом вся гоп-компания с отцом протодиаконом Картагеновым во главе.

— Исполнено, — ответил с радостью Цвет. — Ну, как это вы эту песню сочинили? Давайте-ка…

И все…

---

12 notes: 12
Следовательно *(лат.)*.

XII

Рассказ окончен. Поставлена точка. Надо бы было распроститься с героем. Но автор не считает себя вправе умолчать о нескольких незначительных мелочах, которые и наяву как будто бы свидетельствовали о некоторой правдоподобности странного сна, виденного Цветом.

Одеваясь, чтобы идти с товарищами в “Белые лебеди”, Иван Степанович с удивлением нашел на своем письменном столике несколько веточек цветущей сирени, воткнутых в дешевую фарфоровую вазочку. Цветы были ранние, искусственно выгнанные, почти без запаха или, вернее, с тем слабым запахом бензина, которым пахнет всегда оранжерейная сирень. Этот сюрприз объяснился скоро и просто. Вчера племянница хозяйки, Лидочка, была дружкой на богатой свадьбе и принесла в подарок тетке из своего букета несколько кистей сирени, а та, в виде тонкой любезности, поставила цветы на стол уважаемому жильцу.

Тут же, рядом с вазочкой, лежал цветовский блокнот, раскрытый посредине. Обе страницы были сплошь исчерчены все одним и тем же рисунком — шестиугольной “звездой Соломона”.

Чертежи были сделаны кое-как — небрежно, некрасиво, неряшливо, точно их рисовали с закрытыми глазами, или впотьмах, или спьяну. Как Цвет ни ломал себе голову, он не мог вспомнить, кто и когда исчертил его книжку. Сам он этого не делал — это он знал твердо. “Может быть, кто из товарищей баловался на службе?” — подумал он.

Несколько страннее оказался случай в “Белых лебедях”, где Иван Степанович волей-неволей должен был вспрыснуть свой первый чин и великолепную фуражку с зерцалом на зеленом бархатном околыше. Опустив нечаянно пальцы левой руки в жилетный карман, Цвет нащупал в нем какой-то маленький твердый предмет. Вытащив его наружу, он увидел квадратную пластинку из слоновой кости. На ней была красиво вырезана латинская литера S, обведенная снаружи, по краям, тонкими серебряными линиями и закрашенная внутри блестящей черной эмалью. Цвет узнал это вещицу. Именно такие сантиметровые пластинки с буквами видел он прошлою ночью во сне. Но каким образом она попала ему в карман, Цвет не мог этого представить.

Регент Сребструнов, сияющий, лоснящийся, курчавый и прекрасный, как елочный купидон, увидев квадратик в руке у Цвета, заинтересовал-

ся им и выпросил себе эту пустячную, изящную вещицу. “Точно нарочно для меня, — сказал он. — Первая буква моей фамилии”. Цвет охотно отдал ее и сам видел, как регент положил ее в портмоне. Но когда Сребструнов через три минуты хотел опять на нее посмотреть, то в кармане ее уже не оказалось. Не нашлось ее и на полу.

Среди этих поисков Сребструнов вдруг откинулся на спинку стула, хлопнул себя ладонью по лбу и уставился вытаращенными глазами на Цвета.

— Отроче Иоанне! — воскликнул он. — А ведь я тебя нынче во сне видел! Будто бы ты сидел в самом шикарном кабинете, точно какой-нибудь министр или фон-барон, и, выражаясь репортерским языком, “утопал в вольтеровском кресле”, а я будто бы тебя просил одолжить мне сто тысяч на устройство певческой капеллы… Скажи на милость — какая ерундистика привидится? А?

Цвет сконфузился, улыбнулся робко, опустил глаза и промямлил:

— Да… бывает…

Но самое глубокое и потрясающее воспоминание о диковинном сне ожидало Цвета через несколько дней, именно первого мая. Может быть, случайно, а может быть, отчасти и под

влиянием своего сна. Цвет пошел в этот день на скачки. Он и раньше бывал изредка на ипподроме, но без увлечения спортом и без интереса к игре, так себе, просто ради компании. Так и теперь он равнодушно следил глазами за скачущими лошадьми, за жокеями в раздувающихся шелковых разноцветных рубашках, за пестрым оживлением нарядной толпы, переполнявшей трибуны.

Во время одной скачки он вдруг почувствовал настоятельную потребность обернуться назад и, обернувшись, увидел в ложе, прямо против себя, Варвару Николаевну. Не было никакого сомнения, что это была она, та самая, которую он не мог забыть со времени своего сна и лицо которой он всегда вспоминал, оставаясь наедине, особенно по вечерам, ложась спать. Она, слегка пригнувшись к барьеру ложи, глядела на него сверху, не отрываясь, пристальными, изумленными глазами, слегка полуоткрыв рот, заметно бледнея от волнения. Цвет не выдержал ее взгляда, отвернулся, и сердце у него заколотилось сильно и с болью.

В антракте к нему подошел молодой бритый красивый офицер-моряк и слегка притронулся к его локтю. Цвет поднял голову.

— Извините, — сказал офицер. — Вас просит на минуту зайти дама вот из той ложи. Мне поручено передать вам.

— Слушаю, — сказал Цвет.

Ноги его, как каменные, ступали по деревянным ступеням лестницы. Ему казалось, что вся публика ипподрома следит за ним. Путаясь в проходах, он с трудом нашел ложу и, войдя, неловко поклонился.

Это была она. Только она одна могла быть такой прекрасной, чистой и ясной, вся в волшебном сиянии позабытого сна. С удивительной четкостью были обрисованы все мельчайшие линии ее тонких век, ресниц и бровей, и темные ее глаза сияли оживлением, любопытством и страхом. Она показала Цвету на стул против себя и сказала, слегка краснея от замешательства:

— Извините, я вас побеспокоила. Но что-то невообразимо знакомое мне показалось в вашем лице.

— Ваше имя Варвара Николаевна? — спросил робко Цвет.

— Нет. Мое имя Анна. А вас зовут не Леонидом?

— Нет. Иваном.

— Но я вас видела, видела… Не на железной ли

дороге? На станции?

— Да. Там стояли рядом два поезда. Окно в окно…

— Да. И на мне было серое пальто, вышитое вот здесь на воротнике и вдоль отворотов шелками…

— Это верно, — радостно согласился Цвет. — И белая кофточка, и белая шляпа с розовыми цветами.

— Как странно, как странно, — произнесла она медленно, не сводя с Цвета ласковых, вопрошающих глаз.

— И — помните — у меня в руках был букет сирени?

— Да, я это хорошо помню. Когда ваш поезд тронулся, вы бросили мне его в раскрытое окно.

— Да, да, да! — воскликнула она с восторгом. — А наутро…

— Наутро мы опять встретились. Вы нечаянно сели не в тот поезд и уже на ходу пересели в мой… И мы познакомились. Вы позволили мне навестить вас у себя. Я помню ваш адрес: Озерная улица, дом пятнадцать… собственный Локтева…

Она тихонько покачала головой.

— Это не то, не то. Я вас приглашала быть у нас в Москве. Я не здешняя, только вчера приехала и

завтра уеду. Я впервые в этом городе… Как все это необыкновенно… С вами был еще один господин, со страшным лицом, похожий на Мефистофеля… Погодите, его фамилия…

— Тоффель!

— Нет, нет. Не то… Что-то звучное… вроде Эрио или Онтарио… не вспомню… И потом мы простились на вокзале.

— Да, — сказал шепотом Цвет, наклоняясь к ней. — Я до сих пор помню пожатие вашей руки.

Она продолжала глядеть на него внимательно, слегка наклонив голову, но в ее потухающих глазах все глубже виделись печаль и разочарование.

— Но вы не тот… — сказала она наконец с невыразимым сожалением. — Это был сон… Необыкновенный, таинственный сон… чудесный… непостижимый…

— Сон, — ответил, как эхо, Цвет.

Она закрыла узкой прелестной ладонью глаза и несколько секунд сидела неподвижно. Потом сразу, точно очнувшись, выпрямилась и протянула Цвету руку.

— Прощайте, — сказала она спокойно. — Больше не увидимся. Извините за беспокойство. — И прибавила невыразимым тоном искренней печа-

ли: — А как жаль!..

И в самом деле. Цвет больше никогда не встретил этой прекрасной женщины. Но то, что они оба, не знавшие до того никогда друг друга, в одну и ту же ночь, в одни и те же секунды, видели друг друга во сне и что их сны так удивительно сошлись, — это для Цвета навсегда осталось одинаково несомненным, как и непонятным. Но это — только мелочь в бесконечно разнообразных и глубоко загадочных формах сна, жизни и смерти человека…

1917